ПЬЕР БУЛЬ

НОВЕЛЛЫ

ПЕРЕВОД
С ФРАНЦУЗСКОГО
Галины
ДОМБРОВСКОЙ

ЗАГАДОЧНЫЙ СВЯТОЙ
ПРОСЧЕТ ФИНАНСИСТА
СЕРДЦЕ И ГАЛАКТИКА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга, принадлежащая перу известного французского писателя Пьера Буля, включает в себя несколько остросюжетных новелл.

«Загадочный святой» — динамичная фантасмагорическая притча о страшных, катастрофических событиях, связанных с нашествием черной чумы, опустошившей Европу в XIV веке, которая сразила даже несчастных прокаженных лепрозория Больной горы.

«Просчет финансиста» («Интерференция») — детективная история с любовной интригой.

«Сердце и галактика» — научная фантастика о загадочных сигналах из космоса, которые пытаются расшифровать известные ученые, заброшенные с экспедицией на обратную сторону Луны. В этой новелле автор удачно использовал приемы математической логики, причем сделал это в такой доступной форме, что читатель, далекий от точных наук, легко и с удовольствием откроет для себя этот аспект науки — загадку двоичных знаков.

- Пьер Буль
  - От переводчика
  -
  - Загадочный святой
    -
    - I
      - 1
      - 2
      - 3
      - 4
      - 5
    - II
      - 1
      - 2
      - 3
      - 4
    - III
      - 1
      - 2
      - 3
  - Просчет финансиста
  - Сердце и Галактика
    -

    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15

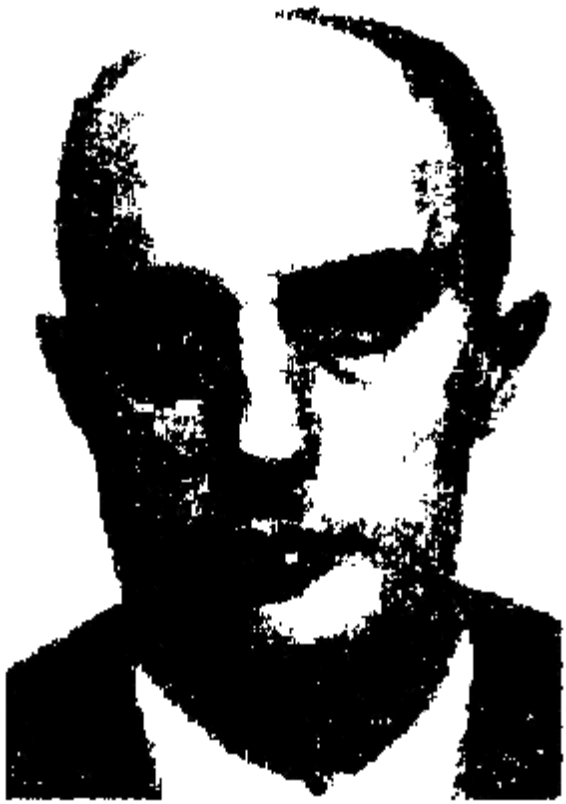
Пьер Буль
Загадочный святой
Просчет финансиста
Сердце и Галактика

От переводчика

Жизнь Пьера Буля настолько насыщена разного рода неожиданными событиями, что напоминает приключенческий роман. Он родился в 1912 году на юге Франции, в Авиньоне. Получив высшее инженерное образование, два года работает по специальности. Но, будучи по натуре романтиком, жаждущим приключений, в 1936 году Пьер отправляется в Малайзию на каучуковые плантации. В таком экзотическом формате он наблюдает малазийцев, китайцев, англичан. Позже все колониальные перипетии он опишет в нескольких своих романах. Вторая мировая война вовлекает Пьера Буля в новые, более опасные приключения, в которых он подвергается испытаниям на смелость и мужество. Он участвует в движении Сопротивления, сражается в Бирме, в Китае и Индокитае во времена японского нашествия. А в 1942 году оказывается в тюрьме. Потом — долгих три года в плену. В 1945 Буль репатриирован во Францию. После недолгого пребывания в Малайзии — в 1947 году он обосновывается в Париже и посвящает себя литературе. Его третий роман «Мост через реку Квай» о французском Сопротивлении имеет огромный успех, за него он удостоен премии Гран-при Сент-Бев, а за «Сказки абсурда» ему присуждена Гран-При 1953 года. Так к Пьеру Булю приходит всемирная слава. В своих романах и новеллах «Испытание для белых людей, $E = MC^2$», «Планета обезьян», «Тупик» и других он критикует социальные институты эпохи — администрацию, образование, юстицию, писателей, профессоров, ученых. Действия и события в его романах разворачиваются в Малайзии или Китае, в космополитических кругах, на фоне экзотических пейзажей, во время войны в Англии, во Франции, на воображаемых планетах или в космосе. Его юмор проникнут мрачным пессимизмом. Так, в своей новелле «Загадочный святой» серии «Милосердные истории», в которой события разворачиваются таким образом, что Добро вступает в конфронтацию со Злом, писатель невольно убеждает читателя в мысли, что если творить добро лишь ради подтверждения концепции Добротворчества — такое Добро ведет к роковой развязке, и в какой-то момент оно оборачивается Злом, ибо не несет в себе жизнетворной силы. И подчеркивает, что недостаточно только поучать, так как смысл милосердия — в реальной самоотверженности. Научная фантастика писателя — это скорее социальная сатира, чем мечты о будущем. Произведения Пьера Буля, написанные в лучших традициях французской литературы, стоят в одном ряду с блестящими

творениями классиков — таких, как Мольер с его комедиями нравов и Вольтер с его философскими сказками.

Галина Домбровская



Загадочный святой

Одной очень дорогой мне подруге, чье неутомимое милосердие и вдохновило меня написать эту страшную историю.

П.Б.

Новелла

I

1

Неизвестный подошел к лепрозорию[1], когда солнце уже опускалось над равниной. Неровно — то едва переставляя ноги, понурив голову и устало опустив плечи, словно утомлен был долгой дорогой, то распрямляясь во весь свой немалый рост и прибавляя шагу — он взбирался по склону Больной Горы. Судя по тому, как напряжены были черты его лица, он подавлял усталость отчаянным усилием воли, словно дойти до лепрозория было для него жизненно важно.

Несмотря на жару, путник был одет в длинное шерстяное коричневое платье до пят. Потное лицо его потемнело от дорожной пыли. Тяжело дыша, он добрался до огромного деревянного креста, который символизировал границу царства проказы и одновременно обозначал вход в него, опустился на камень, уронил наземь свой посох с привязанной к нему маленькой котомкой и несколько мгновений сидел неподвижно, переводя дух.

Впрочем, человек этот тут же поднялся, и по пригорку, параллельно тени от креста, протянулась его тень. Глаза его вдруг оживленно блеснули, скуластое лицо озарилось. Невдалеке, у ограды, опоясывающей монастырь и прилегавший к нему больничный поселок, он заметил монаха — это брат Роз наблюдал заход солнца, ожидая часа, когда пора звонить к вечерне.

Брат Роз и приор Томас д'Орфей — только эти два монаха служили теперь в монастыре и жили в лепрозории вместе с прокаженными. Да еще врач Жан Майар, который объяснял столь малое число насельников обители простыми словами: «Проказа убивает медленно». И был недалек от истины: проказе и в самом деле понадобились десятилетия, чтобы неспешно, одного за другим, сразить всех здешних монахов. По крайней мере, ни один из них не умер от старости. В конце концов в живых не осталось никого из тех братьев, что пришли на Больную Гору в год основания колонии, то есть еще при короле Людовике Святом, а заменить навеки почивших было просто некем.

Брат Роз пришел в монастырь одним из последних. Был он тогда, в самом начале века, молодым и здоровым послушником, а проказу подхватил лишь много лет спустя: его могучая крестьянская стать стойко сопротивлялась болезни, лепра даже к

шестидесяти годам не смогла одолеть его, хоть и оставила на лице и руках характерные отметины. И теперь еще бодрый, он был буквально незаменим: помогал приору отправлять службы, выполнял обязанности звонаря, ухаживал за прикованными к постели прокаженными, приносил им от врача лекарства, следил за порядком полевых работ, хоронил усопших — лепра убивала хоть и медленно, но неизбежно…

Неизвестный пересек рубеж, обозначенный деревянным крестом, и быстрым шагом устремился к брату Розу, который воззрился на нежданного пришельца с любопытством и недоумением. А тот, разглядев рясу брата Роза, был, похоже, разочарован, словно не ожидал встретить здесь монаха. Но присмотревшись пристальнее и различив на лице монаха верные признаки проказы — припухшие веки и брови, необычно вздутые губы, увеличенный нос, гладкий, словно ороговевший лоб, похожие на отруби чешуйки на полуголом черепе, — он тут же переменился. Признаки жуткой болезни, которые обычно вызывали у мирян отвращение и ужас, казалось, воодушевили пришельца: в глазах его вновь вспыхнули живые огоньки, щеки окрасились румянцем.

Похоже, неизвестный явился с добрыми намерениями: подойдя к брату Розу, он взял его за руки, поднес их к своим губам и пылко поцеловал сперва правую, потом левую. Монах поначалу оцепенел, но вскоре пришел в себя, высвободил руки и отступил на шаг.

— Отыди, странник! Или ты не ведаешь, что вступил в пределы лепрозория? Или думаешь, что мои монашеские одежды способны предохранить от проказы? Я не ношу ни знака красного сердца[2], ни погремушки[3], потому что живу среди прокаженных, которые даже мысленно не позволяют себе заходить за наш пограничный крест. Никогда не ступала в лепрозорий и нога жителя равнины. Взгляни на мое лицо! Видишь? Я тоже прокаженный, как и все, кто живет на Больной Горе.

— Знаю, брат мой, — ответил неизвестный. — Но именно на Больную Гору Господь направил мои стопы. Я пришел именно к вам, к прокаженным, полностью сознавая это. И ты первый, кого я здесь встретил. Благослови же меня братским поцелуем.

Потрясенный брат Роз вздрогнул при этих словах. Его, привыкшего слышать лишь хриплые голоса прокаженных, глубоко тронул удивительный голос незнакомца — тихий и проникновенный, он мог принадлежать разве что какому-то неземному созданию, невесть зачем явившемуся ко вратам обители скорби.

Неизвестный тем временем подошел к монаху вплотную и

распростер объятья. Монах попытался было уклониться, но тот, невзирая на протест, привлек его к себе и запечатлел поцелуй на изуродованной проказой щеке.

Покоренный таким обхождением и опьяненный неким дивным запахом, которым веяло от дыхания странника, брат Роз вдруг подумал, что встретил истинного святого, и открытие это ожгло его наивную душу. Поспешно высвободившись из объятий пришельца и не дав себе труда хотя бы любезно поклониться в ответ, он очертя голову помчался к лепрозорию, крича во все горло:

— Святой! Святой! Брат приор, Господь послал нам святого!..

2

Долгие годы, еще со времен царствования Филиппа Валуа, а точнее, с тех пор, как началась Столетняя война с Англией[4], лепрозорий Больной Горы не сообщался со внешним миром, представляя собой этакое самостоятельное и вполне независимое царство, подвластное собственному монарху — проказе, царство неизлечимо больных, которых пугала та жизнь, которой жили здоровые люди, которым чужды и даже ненавистны были радости земные. Ни один из жителей равнины не рискнул бы подняться по склону Больной Горы выше деревянного креста, равно как не поздоровилось бы и прокаженному, вздумай он спуститься на равнину, а тем более забрести в близлежащую деревню. Потому-то крест у входа в царство лепры и служил неодолимым рубежом как для больных, так и для здоровых.

Обитатели Больной Горы видели людей равнины только в те дни, когда в лепрозорий приводили нового больного. Обреченного обычно сопровождала целая процессия с кюре во главе. Таким образом толпа здоровых исторгала из себя прокаженного, подталкивая его вперед с нескрываемым отвращением. К тому времени прокаженные уже окончательно смирялись со своей участью, а потому шли покорно, даже не помышляя о бегстве, тем более что селяне, завидев процессию, не скрывали готовности в случае чего схватиться за вилы. У рубежного креста отверженный останавливался и начинал громыхать еще совсем новенькой, сверкающей на солнце погремушкой, а позади него истошно орала толпа, вызывая монахов Больной Горы принять нового подопечного. Приор Томас д'Орфей, заслышав этот гам, привычно вздыхал и выходил за монастырские стены один или с братом Розом — селяне не любили, когда прокаженных выходило больше, могли и камнями закидать. Кюре издали выкрикивал имя вновь прибывшего и

заверял, что панихиду по прокаженному отслужили по всем правилам. Потом коротко пересказывал мирские новости, и на том все заканчивалось. Толпа, сопровождавшая отверженного, сделав ритуальный полукруг, возвращалась в деревню, а приор вместе с новичком неспешно возвращался в царство лепры.

Царство это представляло собой, можно сказать, маленькую Вселенную, при обустройстве которой ее обитатели, конечно же, не смогли обойтись без деления на сословия. Приор попытался однажды сокрушить перегородки, которые воздвигли в своей среде обитатели лепрозория, но быстро понял тщетность своих усилий и отступился. Да и Жан Майар, бывший не только прекрасным врачом, но и весьма искушенным философом, что ни день приводил все более веские доводы в пользу иерархии, без которой никакое общество, даже состоящее из одних прокаженных, просто не может существовать.

Здесь следует заметить, что коренились эти сословные различия, как ни странно, в самой природе проказы, точнее, в многообразии внешних ее проявлений, да еще в том, насколько глубоко поражала она человека. Те, кому она обезобразила только лицо, не изуродовав его, однако, до полной неузнаваемости и не осквернив еще тело отвратительными язвами, почитались здесь знатью и жили у самых стен монастыря в так называемом *малом лепрозории*. Аристократы эти держались особняком и считали всех прочих обитателей Больной Горы нечистыми. Последние жили в ветхих лачугах за пределами монастырского поселения, и эта часть Больной Горы называлась *большим лепрозорием*. Чем ужаснее были изуродованы проказой люди, тем выше по Больной Горе они ютились. Таким образом, гора представляла собой нечто вроде сахарной головки, обернутой лентой, чьи кольца, сужаясь к вершине, давали приют тем или иным кастам прокаженных — в прямой зависимости от стадии болезни и чудовищности обличья. Поэтому каменистая земля, прилегающая к вершине и называемая иногда *верхним лепрозорием*, вполне заслуженно считалась проклятой Богом. Ну, а самую макушку Больной Горы венчала лачуга пленного черного абиссинца — его во времена последнего крестового похода привезли сюда рыцари, обнаружив на нем клеймо проказы.

Жан Майар, врач лепрозория, окончил славную в те времена медицинскую школу в итальянском городе Салерно. Там он прочел в числе прочих книг и гениальную «Божественную комедию» Данте, а потому нередко сравнивал Больную Гору с адом, описанным великим флорентийцем. Но если дантов ад являл собой огромную воронку, то есть походил на перевернутый конус, на девять кругов коего души ввергались в зависимости от

тяжести грехов, а внизу, в самой горловине воронки, торчал из земли омерзительный Люцифер, то лепрозорий Больной Горы был точной копией ада, только вывернутой неким злым демоном наизнанку, чтобы острие конуса, обсиженное прокаженными, обращалось к небесам.

Обитатели малого лепрозория, то есть местная знать, подразделялась еще и на мелкие касты, не поддерживающие между собой никаких отношений. Здесь прокаженные делились на *львиноликих, собакомордых, быкоголовых, свинорылых, сатироподобных* и так далее, то есть по типам внешности, явленным на свет Божий злой и безудержной фантазией Короля Лепры.

Вся эта аристократия, населявшая поселок близ монастыря, крайне редко покидала его пределы, разве лишь затем, чтобы понаблюдать издали за ходом полевых работ, на которых бывали заняты обитатели большого лепрозория из числа наименее безобразных, те, что жили в нижнем кругу. Никто из обитателей монастырского поселка никогда не осмеливался подняться по горе. Очень редко прокаженный из круга, лежащего ниже, переходил на верхний, где обреталась более уродливая форма лепры, еще реже бывало обратное. Но если такое все же случалось, вторгшемуся надлежало строго придерживаться правил, принятых во внешнем мире: он должен был издали оповещать о своем приближении и шарахаться от каждого встречного, тогда как аборигенам этого круга полагалось указывать на пришельца пальцами, всячески его осмеивать и тоже шарахаться от него в разные стороны, затыкая при этом ноздри и всячески выказывая брезгливость, каковую пришелец и сам бы проявил к любому, кому выпало несчастье жить выше него по склону горы.

А парии, жившие вокруг вершины и сами себя считавшие проклятыми, лишены были даже этой мелкой радости и от этого страдали не меньше, чем от самой болезни. Хуже, ничтожнее их был только африканец, что обитал на самой макушке горы, но тот редко покидал свое логово. Если же абиссинец в кои-то веки отваживался спуститься чуть пониже, ему полагалось надевать глухой балахон и непрерывно греметь своим боталом. В эти минуты все население Больной Горы тряслось от страха.

Конечно, все эти правила нигде не фиксировались и никем не утверждались, но и среди подданных Короля Лепры неписанные законы блюлись строже писанных. Приор Томас д'Орфей знать их не хотел, но всякий раз, бывая в верхнем лепрозории, испытывал неловкость, оттого что ему, сколько бы он ни корил себя за малодушие, недоставало мужества приблизиться к чернокожему

абиссинцу. К африканцу заходил лишь врач, приносил ему лекарства и хоть на несколько минут скрашивал одиночество несчастного. Во время этих кратких визитов Жану Майару удалось даже выучить несколько слов из диковинного языка абиссинца и понять, как ему казалось, что у себя на родине негр был кем-то вроде знахаря или колдуна.

Возвращаясь к себе после таких визитов, нелегких и для него, Майар замечал, что и в верхнем лепрозории, и в большом, и в малом все его сторонятся. Даже старый друг, приор Томас д'Орфей, встречал его без особой радости. Но врачу не пристало обижаться, и Жан Майар только улыбался в ответ. Он хорошо знал, в чем тут дело, и великодушно прощал приору его угрюмость, а прокаженным — их неприкрытую брезгливость.

3

В ожидании вечерней мессы приор и врач коротали время за кружкой вина. Своим происхождением вино обязано было небольшому винограднику, который возделывался тщанием брата Роза. Он же готовил из сладких ягод хмельной напиток, бережно пуская в дело каждую каплю драгоценного сока. И именно благодаря ему приятели могли весь год опустошать по вечерам кружечку-другую. Оба, надо сказать, очень дорожили этими скромными дружескими застольями.

Приору шел уже семьдесят пятый год. Как и многие его товарищи по несчастью, он долго сопротивлялся проказе, противопоставляя ее сокрушительному натиску простой и размеренный образ жизни, не допускающий никаких излишеств, неукоснительно отправлял требы и строго исполнял врачебные предписания Жана Майара. Возможно, именно поэтому проказа изуродовала только лицо священника, избавив от прочих своих проявлений: язв, гнойников, гангрены… Приор был благодарен за это Господу и судьбе и лишь молил Всевышнего о последней милости: позволить ему умереть с обликом, приличествующим христианину. По местным понятиям, он относился к касте львиноликих и давно уже с этим смирился. Однажды ему даже пришла в голову мысль, что львиный облик не так уж и безобразен. А когда приор подумал вдобавок, что мало кто из священнослужителей сохраняет к таким годам густую волнистую шевелюру, он почти греховно возгордился. А Жан Майар, имея в виду пышную гриву приора, порой называл его в шутку царем зверей.

Врач же, с его приплюснутым носом и чувственными, хоть и слишком большими губами, растянутыми вечной лукавой

усмешкой, относился к касте сатироподобных. Сходство с сатиром усиливали его веселый нрав и простодушие. Иногда он с серьезным видом брался доказывать, что образ, придаваемый человеку лепрой, в некоторой мере соотносится с его характером, а в качестве примера приводил брата Роза, человека воистину верного и преданного, которого злая воля Короля Лепры сделала кинокефалом или, выражаясь здешним языком, собакомордым.

В юности Жан Майар очень много странствовал. Еще в годы ученичества он исколесил Францию и Италию, дотошно изучая философию с медициной и, конечно же, не чуждаясь обычных жизненных удовольствий. Он нимало не сожалел о своем блестящем прошлом, поскольку давно вменил себе в правило не бередить душу, не терзать ее воспоминаниями. В день, когда его впервые уязвила лепра — с тех пор прошло десять лет, а тогда ему как раз исполнилось сорок, — он не стал гневить небо тщетными проклятьями, а сразу же начал искать лепрозорий, расположенный в местах с хорошим климатом, и в этом больше походил на вельможу, собравшегося удалиться от дел, чем на жертву ужасного недуга. Природа Больной Горы сразу пришлась ему по душе, и он, долго не мешкая, перебрался сюда, к немалому удовольствию приора, который обрел в нем не только прекрасного врача, но и доброго друга. Он явился в лепрозорий сам, не дожидаясь, когда его принудят к этому другие. Девизом себе он взял слова: *проказа убивает медленно*, — и со временем развил этот утешительный тезис в своего рода философскую систему.

Тем вечером приор Томас д'Орфей был весьма мрачен, что, впрочем, частенько с ним бывало. Попеняв на плачевное состояние монастыря, разрушавшегося из-за недостатка средств на ремонт, он принялся клясть свой жестокосердный век, в котором христианская добродетель пришла к совершенному упадку.

— Нет больше милосердия в нашем королевстве, — сокрушался он. — И никто уже не печется о несчастных. Никому нет дела до прокаженных, хотя оно и понятно — ведь мы способны вызвать лишь отвращение. А ведь лет сто назад никто не посмел бы обходиться с нами, как владетельный сеньор со своими смердами! Как это ни странно, но людей набожных, способных сострадать несчастным, в те времена было куда больше. Правда, пример для подражания исходил тогда свыше… я это доподлинно знаю. Луи Девятый, святейший из наших королей, умер вскоре после того, как я появился на свет, но еще тогда, в младенческом возрасте, мне довелось слышать рассказ о том, как в аббатстве Руамон[5] выходил он некоего прокаженного

с весьма и весьма отталкивающей внешностью. Прибыв в это местечко, добрый король начал с того, что принял на себя все хлопоты по уходу за беднягой. Он целовал его руки и лицо, прислуживал ему во время еды, причем неизменно выбирал для него лучшие куски, которые собственноручно же и подносил к его обезображенным болезнью губам. Он даже ноги ему омывал. Не было такой услуги, в которой он отказал бы своему подопечному лишь оттого, что она была ему неприятна.

— Потому и заслужил наш добрый король вечную память! — вставил врач.

Приор же пожал плечами и продолжал:

— Как бы то ни было, но этот урок милосердия тут же принес свои плоды: люди сделались добрее к больным и убогим, и пример монарха всякий день порождал новую добродетельную душу, готовую без опаски приблизиться к прокаженному.

— Что ж, это и понятно, — согласился с приором Жан Майар, и лицо его при этом исказилось одной из гримас, свойственных сатироподобным. Так получалось всякий раз, когда он смыкал свои огромные губы.

— Могу еще добавить, что королевство в те времена прямо-таки кишело святыми, словно море рыбой. И не было такого рыцаря, аббата или благочестивого горожанина, который не стремился бы отыскать прокаженного, лучше в последней стадии болезни, чтобы сходу одарить его поцелуем и тем самым не только спасти свою душу, но и обратить на себя внимание добродетельного монарха. Никогда еще ноги бродяг и оборванцев не были так часто мыты, как в ту эпоху, мой приор. Никогда еще отверженные не бывали так ласкаемы и улещаемы. Вот тут-то и напрашивается вопрос: по достоинству ли оценили эти благодеяния и те, и другие? И вот что еще любопытно: не слишком ли возгордились эти благодетели, что, по сути дела, погнали в царство небесное столько невинных душ?

— Вы все шутите, господин философ, — сказал приор, — а меня нынешнее жестокосердие и равнодушие к ближним просто убивают. Страдает ведь все население лепрозория: больные не ощущают ни внимания, ни сочувствия, которые исходили бы из большого мира, что простирается вокруг нашей Больной Горы. А нынешнего нашего короля Филиппа, увы, прокаженные интересуют менее всего. Его занимают только войны…

— Которые он ведет, кстати сказать, из рук вон плохо! — горячо перебил приора врач, который тоже принимал это близко к сердцу. — А что до нашей знати, так она и вовсе не умеет воевать и занята одними кутежами. Да разве способны бурдюки, налитые вином и окованные железом, одолеть англичанина, даже

когда их двое против одного?.. Но вернемся, мой приор, к нашим подопечным: ведь такая вот их изоляция, похоже, вполне устраивает наших властителей.

— Это худо, — вздохнул приор. — Прокаженные прошли через многие и многие страдания. А ведь себялюбие и злоба — болезни куда более заразные, чем лепра. Оттого-то сердца наших больных и зачерствели, оттого-то нравы их сделались во всем подобны жестоким нравам жителей равнины. Ни один больной не питает ни малейшей жалости к собрату по несчастью: прокаженный хромец презирает слепого прокаженного, безносый прокаженный ненавидит и бежит прокаженного, покрытого коростой, и так далее…

— А при появлении прокаженного негра в ужасе разбегаются все. Да, вы совершенно правы. Потому-то наше уединенное житие — я не раз говорил вам об этом — и нуждается в общественной градации, то есть в упорядочении взаимоотношений между больными.

— Вовек мне не понять этих ваших хитростей-премудростей! — взвился приор. — Я всего лишь бедный пастырь. И полагаю, что все эти ваши сословия, градации или упорядочения просто омерзительны, как их ни назови… И еще мне кажется, что есть вещи куда посерьезнее, и нам стоило бы о них задуматься…

Он вдруг умолк и поднес ко рту свою кружку.

Жана Майара всегда забавляло, как пьет приор. Вот и теперь его вздутая и оттопыренная нижняя губа сперва отвисла, как у некоего животного, а потом неловко прилепилась к краю кружки, обхватила ее почти целиком, так, что языку оставалось только лакать вино. Украдкой наблюдая за ним, врач подумал, что друг его с каждым днем все более походит на льва, но сейчас — на грустного льва, и это отнюдь не украшало приора.

— Да, есть вещи посерьезнее, о которых нам стоило бы задуматься, — повторил приор, поставив кружку. — Мне страшно признаваться в этом даже себе самому, однако вынужден с прискорбием отметить, что и меня не обошла зараза безразличия к ближнему. Мне все труднее и труднее являть милосердие к братьям моим, прокаженным. Я уже говорил вам, мэтр Жан, что всем нам нужен чистый воздух. Потому как иногда, особенно по вечерам, гора наша окутана, словно саваном, зловонным запахом лепры, и смрад этот вызывает упадок духа даже у самых стойких и добропорядочных христиан.

— Да, над нашей горой держится зловонная эманация проказы, тут я целиком с вами согласен, — покивал врач. — Запах гнусный, однако к нему можно привыкнуть, если относиться к

нему философски, стоически. Зато разного рода злодеев и нечестивцев, равно как и плохих христиан, он заставляет держаться подальше от нас. Не забывайте и об этом!

Жан Майар собрался было добавить к сказанному еще несколько веских резонов, но тут со двора донеслись возгласы брата Роза.

4

— Святой! К нам пришел святой! Брат приор, это Господь послал к нам своего святого! Святой! Он явился! Он здесь, у нас! — вопил брат Роз.

Приор вздрогнул. Его приплюснутый нос дернулся, как у внезапно потревоженной кошки. Это известие, чудесным образом совпавшее с его тревогами и заботами, было не иначе как знаком свыше. Поднявшись с хромого табурета, приор подошел к окну. Из окна своей кельи, расположенной во втором этаже монастыря, он глянул на небольшую площадь, к которой вела центральная аллея лепрозория. С приближением ночи здесь все обычно погружалось во мрак и гробовую тишину, но теперь ее нарушил Роз. Крики его отдавались по окрестностям гулким причудливым эхом. Стоя под окном приора, он, не унимаясь, возвещал о чудесном пришельце:

— Кажется, он пришел к нам издалека, брат приор! Это видно по его пропыленным одеждам… Он подошел ко мне близко-близко… Увидел мое обезображенное лицо, но не убежал прочь, не явил ни страха, ни отвращения! А потом он распахнул мне свои объятия и поцеловал меня! И вот еще диво: от его дыхания веет миррой и ладаном… я ощутил это уже дважды!

Послушав восторженные крики монаха, мэтр Жан Майар поморщился и процедил сквозь зубы:

— Вздор! Наверное, добрый брат Роз попросту спятил! И еще мне кажется, что навлечет он на нас ярость жителей равнины. Скорее всего, к нам забрел какой-то странник, плохо сознающий, что занесло его на Больную Гору, к прокаженным. Кричал ты ему, чтобы не приближался к тебе? — спросил врач монаха. — Предупреждал, что ты заразный? Этого требует закон, и тебе он прекрасно известен.

— Я все сделал, как полагается! А он ответил мне, что пришел к прокаженным по доброй воле. Видит Бог, я вел себя так, как того требует мое положение. А он по-братски меня расцеловал.

— Расцеловал?! Прокаженного-то? — с недоверием переспросил Майар.

Приор же явно колебался. Стоит ли верить брату Розу? Вон как он разволновался. Может, ему просто привиделось?

— Где он сейчас, этот твой святой? — все же спросил приор.

Брат Роз повернулся и показал рукой.

Приору с трудом удалось разглядеть из своего окна высокий силуэт в коричневом платье. Пришелец уже миновал ворота и шел к монастырю. В появлении этого человека священнику виделся некий таинственный знак, и он вдруг поверил, что это само Небо вняло, наконец, его молитвам.

Неизвестный шел по главной аллее сначала быстро, потом все медленнее, поглядывая то направо, то налево. Он явно сознавал, что стал своего рода мишенью для множества любопытных взглядов — люди уже начали собираться на боковых аллеях, тянущихся параллельно главной. Все они, казалось, сразу узнали его: конечно же, это был он, зримый, воплощенный образ героя-чудотворца, о коем так долго мечтали, о котором молились обитатели Больной Горы. Толпа зарокотала, послышались возгласы: «Святой! Святой!». Разыгравшееся воображение прокаженных вдруг озарилось, словно неким пламенем, предчувствием чуда: в неизвестном они увидели Мессию, посланного Всевышним, чтобы превратить подобие ада в царство любви.

Однако приблизиться к страннику никто пока не решался — похоже, он внушал глазеющим на него прокаженным не только благоговение, но и некоторую тревогу, даже страх.

Увидев, что пришелец замедлил шаг, из толпы отважилась выступить старуха с отвислыми щеками. Она переступила кромку главной аллеи и очутилась совсем рядом с неизвестным.

Чужак приостановился и повернулся к ней, распахнув объятья. Все замерли, затаили дыхание, а он обнял старуху и облобызал. И пошел дальше. Но в толпе уже нарастал невнятный гомон, лихорадочное возбуждение обещало захлестнуть весь лепрозорий.

— Вы видите? — промолвил взволнованный приор.

— Вижу… — ответил врач. — Вижу и думаю: а вдруг нас всех прямо сейчас вознесет на Небеса!

Прокаженные быстро осмелели — неизвестный шел теперь вдоль темных трепещущих рядов отверженных, чье удивление готово было вот-вот превратиться в фанатичное обожание. Когда он проходил под окнами монастыря, уже сотни иссохших губ повторяли возглас брата Роза «Святой! Святой!..», сотни тощих рук тянулись к нему.

— Мир тебе, странник! — обратился к нему приор, высунувшись из окна. — Ты сам видишь, как мы все взволнованы

расположением, которое ты нам выказываешь. Но ясно ли тебе, какой страшной опасности ты подвергаешься, находясь среди нас!

— Я не боюсь проказы! — тотчас же ответил странник.

Толпа смолкла, словно зачарованная его тихим мелодичным голосом. Все заметили, что странник говорил, не разжимая зубы.

Приор был настолько потрясен дивным звучанием голоса и благородством ответа, что поспешил спуститься по деревянной лестнице, толкнул дверь и очутился пред неизвестным. Тот же пал перед священником ниц, потом поймал его руки и покрыл их поцелуями.

— Поднимись, брат мой! — сказал приор, не без усилия высвобождаясь. — Я благословляю чувства, которыми ты воодушевлен. Мне следовало бы в ответ поклониться тебе до земли и тоже облобызать, но я остерегусь. Вглядись получше в меня и в несчастных, что окружают тебя со всех сторон, и подумай, какой страшной платой воздастся тебе за знаки братской любви.

Неизвестный на мгновение остановил взгляд на львиноподобном с заметно перекошенным носом лице приора, потом неспешно перевел взор на обступивших его прокаженных. Нормальные человеческие лица были только у детей, прочие же были изуродованы болезнью и страданиями.

Заслыша слова приора о том, что какая-то там осторожность мешает ему встретить странника как должно, толпа гневно возроптала: священник воздвигал препоны между нею и Святым. Вконец истерзанные болезнью нервы прокаженных не могли выносить ни малейшего противодействия порывам, и толпа людей прямо на глазах стала превращаться в жуткую свору, в которой верховодили уже не просто зверьи обличья, но зверьи обличья со звериным же норовом, наделенные Королем Лепрой и соответствующими повадками: ярость львиноликих выражалась грозным ревом, похожим на львиный, у свинорылых злобно дергались носы-пятачки, от них неслось хрюканье, собакомордые яростно скалили зубы и скрежетали ими, исторгая свирепое рычанье. Показалось даже, что все они вот-вот бросятся на приора и разорвут его в клочья.

На странника же, судя по всему, это зрелище не произвело особого впечатления. Он взглянул приору в глаза и спросил все тем же негромким голосом:

— Все люди братья, не так ли?

— Да, конечно, хотя ныне многие совершенно об этом забыли.

— Совершенно об этом забыли… — эхом повторил странник.

Жан Майар, который все это время внимательно разглядывал

незнакомца, уловил в этой реплике некоторую озлобленность, что, впрочем, мало его удивило — ведь согласно философии, которую он исповедовал, это чувство было вполне совместимо и с душевной чистотой, и даже со святостью.

— Но не я, — продолжал между тем странник. — Вот потому-то я здесь, среди вас. Зачем же ты изгоняешь меня, брат приор?

— Я?! Разве я тебя изгоняю? — изумился священник.

Благостное сопротивление старого приора было сломлено. Незнакомец стремительно шагнул к нему, распахнул объятия и истово его расцеловал, а затем сам отер слезы, которые вдруг покатились по львиному лику прокаженного священника.

Из толпы, уже умиротворенной и окончательно покоренной новым свидетельством решимости странника, раздались одобрительные возгласы, и полукруг любопытных превратился в плотное кольцо: все сгорали от нетерпения получить в свою очередь чудесный поцелуй.

Тем временем Жан Майар тихо шепнул на ухо пришельцу:

— Послушай-ка, странник. Ясно ли ты представляешь, куда ты попал и чем может обернуться для тебя твое намерение провести здесь эту ночь? Ведь за это жители равнины будут неотступно тебя преследовать. Сдается мне, что ты нездешний и даже не подозреваешь, сколь суровы законы, касающиеся прокаженных. Беги скорее отсюда, и тебе, возможно, посчастливится скрыть, что ты побывал в лепрозории.

— Ты уж прости нашего доктора, — сказал приор, тоже не на шутку встревоженный. — Но он тоже считает своим долгом вслед за мной предостеречь тебя. Врач — человек ученый, искусный и умный, хоть и не лечит лепру, поскольку она неизлечима. Он тоже прокаженный, как и все здесь, однако знает эту гнусную болезнь лучше всех. Но в делах веры он человек сторонний. Я же, брат мой, признал тебя сразу.

— Аминь, — согласился Жан Майар и подмигнул, отчего лицо его скорчилось в жуткой гримасе.

— Я пришел сюда из города, — заговорил странник. — Его колокольни, должно быть, видны с вершины вашей горы. Мне ведомы и жестокие нравы, и бессердечие окрестных жителей. Только тебе-то, господин доктор, что за меня волноваться? — кажется, незнакомец ощутил в мэтре Майаре противника и потому говорил с ним пренебрежительно, даже не глядя в его сторону. — В общем так, господин доктор, нет у меня ни малейшего желания возвращаться на равнину. Отныне я хочу жить здесь, на Больной Горе. Неужто прокаженные откажутся принять меня?

— Конечно же, нет! — поспешил успокоить его приор. — Я

ведь уже сказал тебе, что признал тебя. Благословен будь, Господень посланник!

— Так и позволь мне остаться! Мне и нужен-то лишь ворох соломы да угол в самой что ни на есть убогой лачуге.

— Ты будешь моим гостем. Войди в сей монастырь, отныне он и твой дом. Для меня большая честь и счастье принимать тебя здесь. Входи и располагайся. Ты ведь наверняка утомлен дальней дорогой…

Не обращая внимания на иронические взгляды Жана Майара, приор провел странника в свою келью, усадил за стол, налил ему кружку вина и, кроме всего прочего, настоял на том, чтобы собственноручно омыть гостю ноги. Тот с равнодушием, похожим даже на презрение, позволял делать с собой все, что угодно, однако от житья в келье сразу же отказался, явно горя желанием вернуться к толпе. Та же, ожидая его, глухо роптала.

Врач все продолжал наблюдать за неизвестным, отыскивая в его поведении фальшь или какую-нибудь хитрость, чтобы изобличить в страннике некий мирской интерес.

— Ты еще не видел по-настоящему отталкивающих, просто омерзительных прокаженных, — сказал мэтр Майар страннику. — У тех, что до сих пор окружали тебя, вполне человеческие лица по сравнению с теми, что живут выше по горе. Тебе придется набраться духу, чтобы встретиться с ними, потому как это воистину жуткое зрелище.

— Все люди братья, не правда ли? — изрек странник свою любимую фразу тем же спокойным голосом. — Человеческие лица, даже обезображенные проказой, не вызывают у меня никакого отвращения… А разве не все прокаженные собраны здесь, за монастырской стеной?

— Увы, брат мой! — ответил приор. — Пределы монастыря стали слишком тесными, они не могут уже вместить всех больных, так что многие, пораженные скверной еще в большей степени, вынуждены ютиться в лачугах на склонах горы. Чтобы обойти весь лепрозорий, тебе понадобится не менее двух дней.

Странник резко встал, охваченный каким-то внезапным порывом.

— Брат приор, мне нельзя мешкать, — вдохновенно произнес он. — Я должен побывать у этих несчастных!

5

— «Человеческие лица, даже обезображенные проказой, не вызывают у меня никакого отвращения», — задумчиво повторил врач слова странника. — Вот уж истинно отчаянный человек!

Неизвестный удалился столь стремительно, что приор даже не попытался задержать его.

Жан Майар подошел к окну и выглянул. Сгущались сумерки.

— Странная птица этот ваш Святой, приор, — продолжал врач. — Теперь ему почему-то стало невтерпеж обойти всех прокаженных Больной Горы. Вряд ли это им нужно. Не сделав и двадцати шагов, он уже потерся лицом об десяток обезображенных рыл. А наш брат прокаженный и рад: когда еще будет такой случай! На площади полно народу, просто яблоку некуда упасть. Они даже подыскали уже женщину, чтобы подложить ему. И что же он с нею делает? Все то же: кланяется ей до земли, прижимает ее к своей груди, целует в лоб и в щеки. Снова целует, потом переходит к другим, а те, мерзавки, рады-радешеньки. А он все длит свои старанья… Не пойму я, что это за святой такой — со всеми раскланивается, со всеми лижется… Разве так являют святость?

— Мэтр Жан, вашими устами вещает богохульник, — ответил приор, преисполненный восторга от всего происходящего. — Этот человек свят, и высший смысл его миссии заключен в полной самоотдаче. Потому-то у него и нет времени даже на краткий отдых.

— Ну да, конечно… — буркнул врач. — Но почему бы вам не потолковать с ним чуть подольше и не выяснить, какого он сорта святой. Общеизвестно, что святые могут происходить из королей. Он наверняка не из таких. Бывают святые из рыцарей. Но он явно и не из рыцарей тоже. Может, он святой из монахов? Тогда где его тонзура? Но и на простолюдина он не похож. Впрочем, я никогда не слыхал о святом из простолюдинов…

— Разве его происхождение что-нибудь значит? Он свят, и этим все сказано. Не удалось ли вам уловить, как и мне, некий аромат, что разносится его дыханием? Я до сих пор опьянен им. Этот запах отнюдь не почудился брату Розу, от святого и вправду веет ладаном и мирром.

— Ну как же! Я тоже обонял его, как и вы, хотя и не сподобился его лобзания — должно быть, это не угодно Господу. Итак Всевышний, хвала Ему, всемилостивейше ниспослал нам какого-никакого святого. Вот только жаль, что нет у меня никакого опыта по части общения со святыми. Да и не слыхал я никогда, что от святых исходит какой-то особенный запах…

— Вот тут вы ошибаетесь, высокоученый и глубоко уважаемый доктор, коим я вас почитаю, — весьма серьезно сказал старик-приор. — В былые времени — и это засвидетельствовано доподлинно — истинные святые непременно бывали окутаны, словно облаком, неким только им присущим ароматом, от

которого благоухало и все вокруг.

Жан Майар ответил на эти слова своего набожного друга лишь выразительным взглядом, потом кивнул, но явно из одной лишь вежливости — доводы приора так его и не убедили.

Часом позже, уже собравшись уходить, врач оставил его преподобие Томаса д'Орфея все так же глубоко потрясенным явлением святого жителям Больной Горы. Это его взвинченное состояние поддерживалось и небывалым возбуждением прокаженных, смятением и суматохой, которые допоздна царили окрест монастыря.

Было далеко заполночь, когда странник забрел в *малый лепрозорий* и пустился бродить по его улочкам, одаривая поцелуями всех встречных прокаженных. Люди толпами тянулись к нему, как железяки к магниту.

Потом всеобщее воодушевление несколько поутихло, усталые люди разошлись по своим хибаркам, да и неизвестный, похоже, притомился. Какое-то время он сидел, как бы в глубокой задумчивости, потом встрепенулся и с прежним рвением вернулся к своей миссии.

Решив навестить всех без исключения жителей лепрозория, он попросил брата Роза, который и так следовал за ним по пятам, быть ему проводником. Таким образом он смог встретиться с теми прокаженными, которые никогда не выходили за пределы своих жилищ — иные по причине немощи, а иные потому, что окружающий мир стал для них абсолютно безразличен.

В каждом доме странник отправлял все тот же ритуал братской любви и милосердия: распахивал объятья, а потом целовал одного за другим всех обитателей жилища. Бывали ли уклоняющиеся от объятий? Конечно, да. Но странник тотчас догонял упрямца, ловил за руки и причудливым своим голосом, сами интонации которого уже заключали в себе душераздирающий упрек, усовещал несчастного:

— Все люди братья, не правда ли? Я пришел к тебе с любовью, зачем же ты меня отвергаешь?!

Даже самый нелюдимый и ожесточившийся прокаженный, едва услышав эти слова, чувствовал, как оттаивает его заледеневшая душа, после чего, роняя слезы, принимал объятья. Затем странник придирчиво оглядывал все закоулки хижины, чтобы уйти с полной уверенностью в том, что никто здесь не обойден его братским лобзанием; ни лежачий больной, ни грудной ребенок — и только тогда уходил к следующей лачуге.

Обход поселка он закончил после заутрени, еще до восхода солнца и вновь очутился на главной аллее. Несколько

прокаженных из тех, кто уже не спал, успели разглядеть в свете фонаря, несомого братом Розом, покрытый испариной лоб загадочного святого, заметили и необычайную бледность его лица. Все это стало для них новым свидетельством светлых и благородных помыслов странника, который ради ближних своих не жалел ни сил, ни здоровья. Брат Роз с немалым трудом убедил его немного передохнуть, после чего он отправился дальше, в большой лепрозорий, с твердым намерением так же обойти и его.

II

1

Томас д'Орфей встал рано, незадолго до первой молитвы, которая обычно творилась в шесть утра, и направился в придел, чтобы возблагодарить небо за новый день. Приор оставался в церкви совсем недолго, и на то была причина: ему не терпелось узнать, где побывал и чем теперь занимается гость лепрозория. Выйдя из монастырского придела, он увидел Жана Майара, который привычно шел в этот утренний час в монастырскую больницу. Она представляла собой просто длинный барак, куда помещали больных, чье состояние требовало постоянного ухода… Помощников у мэтра Майара не было — брат Роз был постоянно занят хозяйственными делами, — и он настаивал, чтобы те, у кого проказа была пока еще в легкой форме, обходили страждущих и присматривали за ними, что обычно исполнялось, но без рвения и даже с явным отвращением.

Увидев, что Жан Майар остановился и заговорил с братом Розом, приор, раздираемый любопытством, окликнул врача:

— Мэтр Жан! Где он сейчас? Тот пожал плечами и буркнул:

— Вздремнул в больнице, а потом, еще до рассвета, ушел в большой лепрозорий.

— «Вздремнул в больнице»? Но ведь наше жалкое заведение переполнено, там не хватает коек даже для лежачих…

— На то была его добрая воля, — ответил за врача брат Роз. — Он разделил ложе с одним прокаженным из простолюдинов.

— Он спал рядом с прокаженным?!

— Да, так он захотел, — подтвердил монах. — Он прилег на пару часов, но прежде еще помог нам обиходить больных.

Лицо приора посерьезнело.

— Мэтр Жан, — спросил он, — неужели и этот поступок не восхищает вас?

— Поступок, конечно, смелый, и я не весьма рад, что Бог послал нам добровольного санитара, да еще из святых. Господь свидетель, я бы слова не сказал против его подвижничества, не сопровождайся оно каким-то странным, лихорадочным возбуждением! А у него то ли горячка, то ли нечто вроде мучительного кипения в теле, мой приор! Если он будет продолжать в том же духе, здоровье у него быстро пошатнется. Нет зла страшнее лихорадки, пусть даже она священная, а

сегодня утром и все мои лентяи-помощники, похоже, ею заразились. Такие чувства ничего не стоят, они попросту тщетны. Вам бы следовало своей властью заставить его успокоиться, немного умерить его священный пыл, приор. Я вам это как врач говорю. Подобного рода горячечное возбуждение легко переходит в душевное расстройство, в безумие!

Приор призадумался. Он знал, что его друг — человек не только весьма ученый и искушенный в медицине, но и на редкость здравомыслящий, — часто дает хорошие советы, хотя никогда их не навязывает. Обычно Жан Майар бывал сдержан, да и от других вольностей не терпел, но сейчас — и это было странно — не смог скрыть своего отношения к поведению пришельца.

— Думаю, мне не пристало лить воду на священное пламя, — ответил приор. — Я могу только посоветовать ему беречь силы, чтобы их хватило исполнить благородную миссию до конца.

— Тогда нам по пути: мне надо сделать обход в большом лепрозории. Там мы и встретимся с нашей залетной птичкой, и вы сможете его пожурить. Я намереваюсь сегодня заночевать где-нибудь на полпути к вершине, чтобы завтра закончить обход местности вокруг макушки. К тому же я давно уже не навещал моего печального коллегу.

Последние его слова относились к негру, жившему на самой вершине, и содержали шутливый намек на зачатки медицинских знаний, которые Жан Майар обнаружил у того во время своих нечастых визитов, хотя объяснялись они с африканцем большей частью на языке жестов. Но шутка шуткой, а приора все-таки передернуло при упоминании об абиссинце, этой ходячей гниющей жути. Но врач настаивал на совместной прогулке вверх по склону.

— В последнее время вы много сидели в четырех стенах, а это вредно для здоровья. Прокаженным нужно двигаться, нам полезны умеренные физические нагрузки.

Минуту-другую приор мешкал — его совсем не привлекала перспектива ночевки под случайным кровом. Жан Майар был прав, говоря, что приор предпочитал затворничество в монастыре общению с прокаженными, будь у них даже не слишком омерзительная наружность. Но сегодня священник был всецело охвачен желанием вновь увидеть странника, причем как можно скорее. Потому он ответил врачу неожиданно для себя самого:

— Пойдемте. Вы правы: затворничество вредно и телу, и душе. Пожалуй, лучше мне прогуляться с вами.

В сопровождении верного брата Роза, несшего коробки с лекарствами, и молодого помощника-прокаженного, взвалившего

на себя узел с одеялами для ночевки и провизией, они вышли за пределы монастырской ограды. Молодой человек работал в услужении у Томаса д'Орфея, который, кстати сказать, не смея признаться в некотором эгоизме даже себе, сам выбрал для этой цели такого юношу с лицом, едва отмеченным лепрой, то есть с почти человеческим, чтобы на нем можно было отдохнуть взору.

Любуясь пейзажами, они пересекли прилегавшие к поселку поля и вскоре ступили на довольно отлогую тропу, которая позволяла подниматься спокойно, не задыхаясь, и разговаривать. От движения, от утреннего воздуха и от дружеской беседы приор почувствовал себя помолодевшим. Проходя мимо виноградника, дающего вино к его столу, приор возблагодарил небо за урожай, обещающий быть весьма обильным, и похвалил брата Роза за его труды — лоза содержалась в образцовом порядке.

Славный монах покраснел от удовольствия.

— Здесь-то земля хорошая, — сказал он, — а вот чуть дальше — куда хуже, на ней ничего путного не вырастишь. А все-таки придется нам возделывать новые площади: с каждым годом число голодных ртов все увеличивается…

— Проказа убивает медленно, — заключил врач за брата Роза.

Да, население лепрозория все приумножалось, и это было для приора предметом неустанных раздумий. Ведь мало того, что проказа убивала медленно, она вовсе не подавляла у больных тягу к размножению. Напротив, она, как полагал Жан Майар, усиливала похоть, и оттого рождений с каждым годом становилось все больше, чем смертей. Дети, которых невозможно было изолировать от больных родителей, подхватывали заразу спустя совсем немного времени после появления на свет, и потому обречены были считать своей вечной родиной Больную Гору, куда сосланы были еще до рождения.

С появлением на свет Божий каждого нового младенца приор подолгу вздыхал, а врач, наблюдавший прокаженных рожениц, мучился совестью. Первому приходилось без устали проповедовать чистоту нравов, второму же — столь же неустанно напоминать о достойном человека благоразумии. Впрочем, усилия обоих друзей оказывались абсолютно напрасными: прокаженные бравировали своей обреченностью, пренебрегали добрыми советами и еженощно спаривались с безумной страстью, которая, конечно же, не могла не принести плодов. Будучи не в состоянии одолеть грех, Томас д'Орфей старался хотя бы загнать его в рамки религиозного закона, для чего устраивал венчанья и крестины, однако все его благие устремления натыкались на всеобщее равнодушие. Врач же почасту клялся посворачивать шеи

этим похотливым глупцам, но ни разу, конечно же, не смог решиться на такое. Таким образом росло число подданных Короля Лепры, причем росло довольно быстро. Приор только вздохнул — ему вдруг расхотелось разговаривать.

Миновав поля, на которых трудились прокаженные, друзья вышли к уже более крутому склону, и вскоре за одним из поворотов тропы их взорам открылась равнина, та самая, которая простиралась во все стороны от подножия Больной горы. Воздух над ее южной стороной был прозрачен, и чистый свет разливался над лесом, высвечивая едва ли не каждую веточку. В другой же стороне, над городом, виднелась какая-то красноватая дымка.

— Этот странный туман я заметил еще вчера, — молвил врач. — Он не рассеялся даже с восходом солнца.

— Это тучи пыли, — уверенно сказал брат Роз. — Видите: они зависают, в основном, над улицами и дорогами. Я видел такое еще ребенком и с тех пор запомнил. Тогда в город съезжались на ярмарку торговцы со всего королевства, и от всадников, мчащихся галопом, а также от повозок, запрудивших все улицы, в воздух вздымались огромные клубы пыли и облаками окутывали все вокруг.

— Да, похоже, и сегодня там ярмарка. Или большой праздник.

Несколько минут они шли в мрачном молчании. Загнанные злой судьбой в пределы лепрозория, где не было другой перспективы, кроме усугубления проказы, и где скромный, обусловленный самой болезнью жизненный уклад стал уже привычным, они вдруг с новой силой ощутили свою ущербность. Для этого хватило одного лишь беглого взгляда вниз, на равнину, откуда доносились набатные удары колоколов, взгляда, от которого пробудились воспоминания, казалось бы, навеки почившие в дальних уголках душ: о нормальной людской жизни в миру. Горечь захлестнула их волной, холодной, пробирающей до костей.

Жан Майар первым прервал тягостное молчание и попытался вернуться к привычному своему тону.

— Что нам за дело до дымов и запахов равнины, приор? Наверняка там в разгаре один из многочисленных церковных праздников: колокола гудят так, будто их терзает ураганный ветер. Может, по случаю какого-нибудь новоявленного чуда? Благие вести такого рода неизменно привлекают множество паломников и, само собой, торговцев со всей округи, торопящихся сбыть свой лежалый товар. Вот мы насмешничаем надо всем этим, а разве появление у нас Святого не такого же рода событие?

— В сущности, вы правы, мэтр Жан, — согласился приор. —

Бог поселил нас на Больной Горе и он же направил к нам посланца, чтобы мы устыдились нашего эгоизма. Я уверен, что в глубине души вы чувствуете то же, что и я: никто не может прожить без любви, без сострадания.

— Пусть так, приор, — сказал врач. — Что ж, надеюсь увидеть этого нашего мессию при свете дня… Ага, вот, кажется, и он!

Они подошли к опушке густого леса, в глубине которого виднелось множество лачуг, стоящих от тропы на довольно почтительном расстоянии.

И верно: странник был уже здесь. Желая, очевидно, остаться незамеченным, он неподвижно стоял в тени дерева, опершись спиной на ствол, и не заметил приближения врача и приора. Он наблюдал за дюжиной ребятишек, поглощенных необычной церемонией: десятеро, застыв, сидели в три ряда на корточках, а перед ними стоял на коленях мальчуган в грязных лохмотьях. Чуть поодаль от него другой парнишка, должно быть, заводила, говорил что-то, сопровождая слова бурной жестикуляцией. Ни странника, ни вновь прибывших ребятня не замечала.

Приор собрался было обнаружить свое присутствие, но Жан Майар остановил его, шепнув на ухо:

— Не спешите, приор. Мне хочется хорошенько разглядеть вашего Святого теперь, когда он полагает, что никто его не видит.

— Но чем заняты эти дети?

— Это всего лишь игра.

— Игра?

— Давайте понаблюдаем. И за ребятней тоже. Ведь они — будущее нашего лепрозория… Это их любимая игра, приор. Прокаженные дети играют во взрослых прокаженных…

2

И в самом деле: мальчик, стоящий на коленях, *изображал прокаженного*: голова покрыта черной накидкой, а на груди пришпилен кусок красной ткани, небрежно вырезанный в форме сердца. Паренек постарше, судя по всему, изображал служащего какое-то подобие панихиды.

Исполнив монотонным речитативом литанию — длинную последовательность молитв, куда были включены словечки, похожие на латинские, слыша которые, «паства» едва не покатывалась от хохота, — он наклонился и, прихватив в пригоршни земли, бросил их на голову мальчику, изображавшему отверженного, произнеся при этом:

— *Друг мой! Это знак того, что ты умер для сего мира.*

Ребятишки начали шушукаться, толкая друг друга локтями, а мальчишка, игравший роль прокаженного, пал ниц и коснулся головой земли.

«Пастырь» между тем продолжал:

— Я навсегда запрещаю тебе входить в церковь, подходить или присоединяться к другим людям, посещать многолюдные места.

Тебе навсегда заказано мыть руки в каких-либо источниках, ручьях и реках — в любой воде, за исключением твоей собственной посудины.

Ты не будешь больше носить никакой другой одежды, кроме балахона прокаженного.

Я запрещаю тебе отвечать на вопросы любого, кто встретится тебе на пути; если тебе придется идти по полям, то прежде, чеж заговорить, ты должен будешь сойти с дороги и стать за ветром, дабы не заразить этого человека. Более того, отныне ты вынужден будешь избегать больших дорог, чтобы не встречаться с кем-либо на своем пути.

Я запрещаю тебе, если ты следуешь тропой, ведущей через поля, прикасаться к изгородям или кустам, растущим вдоль нее.

Я запрещаю тебе прикасаться к кому бы то ни было и, в частности, к детям и подросткам.

Я запрещаю тебе впредь есть или пить с кем бы то ни было, кроме как с другими прокаженными.

Мальчишка, изображавший прокаженного, поднялся на ноги и направился к зияющей в земле яме, тряся при этом висящими на шее железяками, которые заменяли ему погремушку. И тут же все остальные дети шарахнулись от него в разные стороны, затыкая ноздри и всячески выказывая свое отвращение. *Прокаженный* лег в могилу, а прочие принялись издали швырять туда пригоршни земли и так до тех пор, пока не засыпали обреченного наполовину.

Церемония эта — separatio leprosorum, или отвержение прокаженного, — подобным же образом проходила и в миру: именно так общество отвергало заболевших проказой, изгоняло их из среды здоровых людей. Такой ритуал предшествовал водворению на вечное поселение в лепрозорий. Дети, рожденные уже на Больной Горе и, следовательно, не испытавшие сами этой жуткой процедуры, были, однако, сильно впечатлены рассказами своих родителей, все время обсуждали их, подолгу сравнивая разные версии. Так что и им ритуал был ведом до тонкостей.

Разыгранное ребятней действо потрясло приора своим необычайным правдоподобием. Врача же, уже привыкшего видеть такого рода детские забавы во время своих обходов, больше интересовала реакция странника. А тот, казалось, был целиком

захвачен неожиданным спектаклем.

Поняв, что в игре наступила небольшая пауза, странник вышел из-за дерева и направился прямо к ребятне. Жан Майар отметил, что лицо его еще бледнее, чем накануне, к тому же от недостатка сна оно осунулось и даже черты его изменились. Однако глаза святого старца пылали каким-то странным, диковатым огнем.

Увидев неизвестного, ребятишки притихли, а самый маленький из них испугался и с ревом бросился наутек.

«Как мало надо, чтобы заставить их разлететься, подобно воробьиной стайке», — подумал врач.

С улыбкой подойдя к детям, странник заговорил с ними тихо, не повышая голоса, как ранее говорил с жителями малого лепрозория, — и дети, словно вмиг зачарованные, молча внимали ему.

Приор снова попытался обнаружить себя, но Жан Майар вдругорядь остановил его. Оба они уже догадались, что странник попросил детей объяснить ему суть игры.

Через несколько минут вдруг раздался смех святого старца, слышать который друзьям еще не доводилось. Смеялся он так же, как и говорил, — не разжимая зубов. Затем, судя по всему, он попросил ребят принять его в свою игру, и те, явно заинтригованные, согласились.

Новая игра оказалась проще, но и она была вдохновлена проказой. Подросток, недавно изображавший священника, переоблачился, покрыв голову черной накидкой и приколов к груди кусок красной ткани в форме сердца, — теперь он сам играл прокаженного. Стайка детей тут же с дикими воплями разбежалась от него, а он преследовал их, звеня своими железками. Тот, кого ему удавалось поймать, должен был сменять его в этой роли. Странник вступил в игру на свой манер: вместо того, чтобы бежать от прокаженного, он пошел ему навстречу, раскрыв объятия, а подойдя, крепко прижал к груди и расцеловал.

Когда он выпустил из своих объятий мальчишку, изображавшего прокаженного, тот выглядел смущенным и растерянным. Тогда странник мягко, сладкоголосо заговорил с подростком, обращаясь одновременно и ко всей ребячьей ватаге. Должно быть, он намеревался произнести нечто вроде проповеди, из которой приор и врач разобрали только первую, уже знакомую фразу:

— Все люди братья, не правда ли?..

— Вот уж воистину прекрасный проповедник, — прошептал Жан Майар. — В его лице, мой приор, вы обрели серьезного соперника.

А сорванцы преобразились. Игра возобновилась, являя теперь картину всеобщего братства и милосердия. Но на сей раз роль прокаженного взял на себя странник, а ребятишки, вместо того чтобы бежать от него, бросались в его объятья с лобзаниями.

Таким образом загадочный святой перетискал всю ребятню и добрался даже до мальчугана, который сбежал было от страха, но потом, увидев всеобщую радость, возвратился к сборищу. А странник, вдруг потеряв к игре всякий интерес и бросив наземь накидку и знак красного сердца, покинул распалившихся детей. Широким шагом он направился к вершине горы, оставив всех в крайнем изумлении.

Врач и приор тоже продолжили свой путь, каждый погрузившись в свои думы и одновременно собираясь с силами — жара становилась изнуряющей, хотя по небу плыли облака.

— Приор, — обратился к другу Жан Майар. — Наблюдая за причудливыми повадками вашего Святого, я в какой-то момент заподозрил в нем пройдоху.

Томас д'Орфей ожег его таким яростным взглядом, что врачу сделалось стыдно за свои сомнения в порядочности странника.

— Мэтр Жан, — посуровел приор, — я не вижу во всем этом ничего, кроме прекрасного урока братского милосердия, который этот святой человек преподал детям, развлекающимся игрой в собственное несчастье и не думающим о том, что нашли себе довольно скверное занятие. Это был полезный и нужный урок. Думаю, они оставят теперь свои жестокие игры.

— Да, пожалуй… на какое-то время. А странник наш отправился дальше, чтобы набрасываться на все новых прокаженных, как коршун на цыплят…

3

Они вновь встретились со Святым там, где наметили остановиться на ночлег: в крупном поселении прокаженных, последнем перед верхним лепрозорием, самым что ни на есть Богом проклятым местом. Врач сохранял здесь за собой лачугу, в ней и отдыхал, когда ночь заставала его во время обходов. Прибыв сюда после обеда, он сразу отправился навещать больных, а потом вернулся в лачугу, и, пока брат Роз и прислуга из местных готовили им с приором постели, друзья устроили прекрасный ужин на двоих, причем удался он куда лучше, чем можно было ожидать.

Странник, — Жан Майар узнал об этом во время своего обхода, — еще не добрался до верхнего лепрозория, который представлял собой своего рода деревеньку на отшибе, но весть о

нем уже просочилась туда какими-то неведомыми путями, и все жители, собравшись на поляне, с нетерпением его ждали.

Озабоченный прежде всего тем, чтобы ни одна живая душа лепрозория не была обделена его вниманием, странник следовал тропами, спиралями обвивавшими конус горы, и непременно заходил в каждую лачугу, не пропуская ни единой, но все же оказался довольно близко к вершине, хотя врач и его спутники шли куда более коротким путем.

Наступала ночь. Толпа прокаженных, собравшаяся на поляне, выглядела теперь размытым колышущимся пятном, в котором уже невозможно было различить лица, отчего приор сразу почувствовал себя свободнее и несколько расслабился. У него не было больше сил сохранять на лице спокойное выражение при виде всех этих гниющих тел с открытыми зловонными ранами, похожими на увядшие цветы, обрамленные отвислыми лоскутами кожи, с органами, до крайности изъеденными лепрой и, казалось, готовыми выпасть. Здесь лепра достигала крайних своих проявлений, являя образцы запредельного ужаса и немыслимого омерзения. Правда, вечерняя прохлада не рассеяла, к великому сожалению священника, удушливого смрада, источаемого заживо разлагающимися больными, и приора мутило — в малом лепрозории дух проказы был не так ощутим.

Вдруг порыв ветра принес волну совсем уж немыслимого зловония. Приор побледнел, вскочил и задвинул окошко доской, заменявшей ставень. Потом устыдился своего порыва и подавленно прошептал:

— Бедные, несчастные люди…

— Проказа убивает медленно… — ответил врач своей любимой сентенцией. — Но огорчаться не стоит: у этого зла есть и положительные стороны.

— Скажете тоже! Что положительного может быть у проказы? — бормотнул Томас д'Орфей, раздраженно дернув своими огромными львиными губами.

— Согласитесь, лепра — чудесное пугало для военных, а война, как вам ведомо, зло куда большее, и она, похоже, всерьез грозит нашему королевству. Но наша славная лепра удержит англичан на почтительном расстоянии от Больной Горы. Никакие враги королевства, равно как его подданные, нипочем не осмелятся противостоять лепрозорию. Это ли несчастье? Я имею в виду тех рыцарей, которые грабят на своем пути все города и деревни под предлогом защиты угнетенных христиан. Вот и выходит, что Больная Гора — оплот мира и спокойствия, поскольку Господь любое зло обращает во благо.

— Ладно, соглашусь, но только по дружбе, нечестивец, — ответил Томас д'Орфей, слегка улыбнувшись.

— Я совсем не уверен, что покинул бы эту тихую обитель, даже если бы мне вдруг представилась возможность вновь окунуться в мирскую жизнь, стать одной из жертв всеобщего безумия…

Приор поразмыслил над этими словами и восхитился про себя могуществом философии. Тут снаружи донеслись возбужденные голоса. Он прислушался, потом открыл окно, но так и не смог разобрать ни слова: у большинства прокаженных, населявших гору на этой высоте и выше, лепрой были поражены и голосовые связки, отчего речь их более походила на хриплое рычание каких-то хищников. Люди, непривычные к общению с ними, не понимали почти ничего, но Жан Майар, довольно регулярно навещавший здешних бедняг и усвоивший этот своеобразный диалект, перевел невнятицу в слова обычного языка. Догадка приора подтвердилась: странник был где-то неподалеку.

Врач попросил брата Роза погасить свечи, после чего друзья устроились у окна, достаточно широкого, чтобы высунуть в него две огромные уродливые головы.

С появлением странника поселок огласился рычаньем и хрюканьем прокаженных. Они выстроились в ряд, и от этого зрелища, напоминавшего какой-то адский балаган, и у врача, и у приора стыла в жилах кровь.

Вдруг эта сцена оживилась мерцанием огоньков. Поначалу они были едва заметны, но с каждой минутой их становилось все больше и больше, и в конце концов весь подлесок осветился странным, каким-то волшебным светом.

По тропе, приближаясь к поляне, шла процессия, похожая на карнавальную.

Во главе шествия детишки несли факелы, горящие красным огнем. Когда же врач и приор, люди много повидавшие, увидели толпу, идущую следом за детьми, они буквально остолбенели, а брат Роз, глядевший одним глазом сквозь щель в стене лачуги, придушенно вскрикнул. Напугал их не столько вид множества прокаженных, донельзя обезображенных болезнью, сколько монстр, маячивший посреди процессии: огромное, о трех головах и на шести переплетающихся ногах воплощение запредельного ужаса.

«Трехзевый Цербер, хищный и громадный, Собачьим лаем лает на народ, Который вязнет в этой цепи смрадной»[6], — пролепетал Жан Майар, вытирая со лба холодный пот. В тот миг ему показалось, что это дьявольское создание и есть страж адских

врат.

Друзьям вдруг почудилось, что они очутились в преисподней, среди сборища отборной нечисти, и это помешало им рассмотреть детали страшной картины.

Когда же оцепенение прошло, врач и приор заметили, что чудище состоит из вполне знакомых форм.

Взгляд приора, все еще блуждающий, остановился наконец на этих головах. У левой вместо губ были лишь искромсанные лоскутки кожи, а нос заменяла черная дыра, зияющая посреди лица и наводящая на мысли о некой бездне, обреченной вовек не видеть света. На правой вся — без малейшего исключения — плоть была трухлявой: язва на язве и гнойник на гнойнике; глаза, губы, нос и уши терялись среди мерзких наростов, а неровный свет факелов делал харю еще отвратительнее.

Средняя голова чудовища поникла и моталась со стороны на сторону. Это показалось приору странным, и одновременно он подумал, что эта голова куда гнуснее прочих, но научилась скрывать свою сущность. Тут же приор уловил едва заметное напряжение мышц шеи, означавшее, что монстр намерен явить и третье свое лицо, и сердце его чуть не остановилось. Когда же голова поднялась, смятение священника сменилось замешательством и смущением — он узнал странника.

Его поддерживали, почти несли два прокаженных из тех, кто до сих пор жили вдали от всех и почти никогда не покидали свои лачуги. Но сейчас и они вошли в свиту незнакомца, а он прижимался к ним так крепко, что три фигуры сливались в одну, очертаниями напоминающую трехглавого адского монстра.

Морок развеялся, но жуткий страх, обуявший приора, так и не прошел. Более того, его начала колотить дрожь омерзения, будто не странник, а он сам шел в обнимку с этими двумя почти уже нелюдями.

— Этот человек свят! — воскликнул Томас д'Орфей так громко, словно криком хотел убедить себя самого. — Только святой способен на такие деяния!

4

— Святой… — задумчиво покивал Жан Майар. — Но мне кажется, что святость подразумевает покой и умиротворение души, а этот человек явно не в себе. Бьюсь об заклад, сейчас он снова примется обнимать и целовать всех и каждого.

Сейчас же толпа прокаженных разомкнулась, выпустив странника из безумного своего вертепа, и он на несколько мгновений остался один, явно пребывая в некоем лихорадочном

забытье. Потом толпа вновь сбилась вокруг него, и он быстро овладел собой и вновь жадно бросился обнимать всех по очереди, предаваясь этому восторженно, страстно, но в то же время и с некоторой монотонностью, будто хотел побыстрее завершить прискучивший труд. С распахнутыми объятиями странник подходил к прокаженному, истово прижимал его к себе, впивался губами в омерзительную плоть, отстранялся, переходил к следующему.

— Возможно, я ошибался, когда заподозрил в нем дурные намерения, — вполголоса, словно разговаривая сам с собой, пробормотал врач. — Но вот ведь что странно: святоша этот с одинаковым усердием милуется со всеми прокаженными — и с мужчинами, и с женщинами, и с детьми, словно не замечает ни пола, ни возраста. Так кто же он? Просто душевнобольной? Или святой безумец? Что ж, бывают и такие. Со вчерашнего дня он облобызал более пятисот рож одна другой гаже, но не пресытился этим… Мой приор, мне приходит в голову лишь одно-единственное разумное объяснение…

— «Разумное объяснение»?! — возмущенно перебил приор.

— Он грешник! — продолжал Жан Майар. — Кающийся грешник, мятущийся и мучимый совестью. Он хочет спасти свою душу, чтобы она попала в рай, вот и пожаловал туда, где всякое деяние — во благо. Но чтобы вдохновиться на такое самопожертвование, надо иметь вескую причину. Возможно, на его совести лежит некое преступление, причем не из простых.

— Безбожник! Да можно ли искать причину для Божьей благодати, нам явленной? Человек этот, свят, понятно вам?!

— Такая уж у меня профессия — искать причину всего непонятного, — пожал плечами врач. — Да я и раньше любил поразмышлять над тем, что движет людьми, в том числе и святыми, — он бросил пристальный взгляд на поляну и заговорил уже совершенно серьезно: — По правде сказать, сейчас я в недоумении. Я так понимаю, что подвижничеству должно быть свойственно некое величие. Почему же Всевышний не наделил избранника своего хотя бы более благообразным лицом? Вы заметили, какой у него крючковатый нос, какое бледное лицо, как выделяются скулы и какие тонкие губы? А этот аромат мирра и ладана, который одурманивает всех, кого он целует. Не затем ли он, чтобы заглушить запах серы?

— Да ты сам дьявол! — прошипел в ответ приор. — Сам не веришь во Всевышнего и нам хочешь внушить…

— Бросьте, мой приор… Дьявол — не более чем выдумка священников, но она хоть вдохновила божественного Данте на прекрасные стихи… А ну-ка гляньте на вашего Святого!

Странник стоял посреди поляны, плотно окруженный толпой.

Приор подошел к окну и взглянул на странника, освещенного факелами. Тот как раз нагнулся над младенцем, которого протянула к нему одна из прокаженных.

Не слова ли Жана Майара посеяли в душе приора тревогу? Или от треволнений последних суток ему стали мерещиться всякие страхи? А может, это мерцающий свет факелов так преображал все вокруг? Как бы то ни было, приора потрясла жуткая гримаса на лице Святого — в то мгновение оно показалось священнику коварным и злобным. Это впечатление усилило и поведение младенца: при виде старца он истошно заверещал, начал судорожно биться в руках матери — та едва его удержала. Но те несколько мгновений, что странник стоял, склонившись над ребенком, с лицом, искаженным злобной миной, приору померещилось, будто он стал свидетелем жертвоприношения какому-то языческому божку-людоеду.

Он крепко зажмурился и осенил себя крестным знамением. Когда же он снова открыл глаза, видение рассеялось. Святой отошел к другим прокаженным, а младенец лишь негромко всхлипывал.

Приор устало провел ладонью по лбу, мысленно упрекнув своего приятеля за кощунственные слова, смущающие сердце.

— Не поговорить ли нам с ним теперь же? — спросил врач.

Приор мешкал. Он чувствовал себя измотанным и подавленным — да и было отчего, — и ему не хотелось выходить к толпе прокаженных.

— Подождем до завтра. Наверное, он остановится здесь передохнуть.

— Пожалуй… чтобы уже в полночь тронуться дальше. А остановится он лишь тогда, когда обойдет весь наш лепрозорий. Он торопится, но где-то у самой вершины мы его непременно догоним. Разве вам, мой приор, не интересно взглянуть, как встретят этого святого в Богом проклятой зоне?

Томас д'Орфей лишь молча передернул плечами. С тем друзья и отправились спать.

III

1

На следующий день приор и врач продолжили свое восхождение. Из поселка они вышли затемно, чтобы подниматься по холодку. Странник же, как и предвидел Жан Майар, отправился в путь еще раньше, и путь его представлял этакую спираль, витки которой сужались по мере приближения к вершине.

Близилась гроза: несмотря на ранний час было душно. Приор дышал тяжело и часто останавливался, чтобы перевести дух. Они миновали ненаселенную местность и наконец добрались до мрачного нагромождения камней, которым отмечался рубеж *верхнего лепрозория*.

— А вот и девятый круг, пристанище отборных горемык, — сказал Жан Майар и прочел по-итальянски из Данте: —«Жалчайший род, чей жребий несчастливый. И молвить трудно, лучше б на земле Ты был овечьим стадом, нечестивый…»[7]

— Я не понимаю итальянского, — мрачно буркнул приор, — но думаю, что здесь, в верхнем лепрозории, ваш великий флорентиец смог бы присмотреть для своего описания преисподней немало жутких подробностей.

— Одну, по крайней мере, он нашел бы уже на подступах к верхнему лепрозорию, приор, — сказал, с трудом переводя дыхание, вконец запыхавшийся врач и остановился. — Ему Ад представлялся бездной, и туда надо было спускаться. Следовательно, шли легко, не боясь надорвать сердце. Мы же, штурмуя эту адскую гору, сильно рискуем своим здоровьем.

Старик-приор даже не улыбнулся. После короткой передышки он тяжело полез по круче, и вдруг, обернувшись, спросил сурово:

— А эти… здешние, долго еще протянут?

— Месяцы, а может, и годы. Я знал одного прокаженного, чье тело сгнило совершенно, на нем даже черви кишели, а он все жил и жил.

Приор тяжело вздохнул.

— Лепра убивает медленно, и его это радовало: он боялся смерти, — заключил врач.

Они все шли и шли, поднимались все выше и выше. Приор обливался потом, который почему-то начал казаться ему чуть ли не предсмертным. Сегодня он впервые почувствовал бремя своих лет, усугубляемое еще и болезнью.

Духота вконец вымотала путников. Над равниной уже клубились черные тучи, а деревню по-прежнему накрывала красноватая дымка. Врач попытался привлечь к этому внимание своего спутника.

— Странно: этот пыльный покров висит над деревней уже третий день, словно там, на дорогах, творится невообразимая сутолока. Неужели такое может быть от ярмарки или какого-то иного праздника?

— А-а, откуда мне знать? — раздраженно отмахнулся приор. — Может, там паника из-за войны… А вам-то что за дело? Сами ведь давеча говорили, что враги французского королевства нам не страшны…

Друзья долго еще шли молча. Когда они совсем уже приблизились к вершине, им вдруг предстал тот, кто занимал их мысли — странник сидел на скальном выступе перед лачугами, которые ему предстояло посетить. Ни единого прокаженного не было видно, хотя они наверняка смотрели сквозь щели и из-за деревьев: здешние обитатели редко выходили из своих жилищ, предпочитая прятать свое безобразие даже друг от друга.

Странник сидел, опустив голову, и, казалось, дремал. Он не заметил приближения приора и врача, а когда мэтр Жан заговорил с ним, даже подскочил от неожиданности.

— Странник, ты явно переутомился или, по крайней мере, близок к этому. Твои великодушие и усердие достойны всяческого восхищения, но ведь это же сущее безумие — губить себя, расточая милосердие! Не благоразумнее ли рассчитать свои силы? Наш приор — такой же святой человек, и он скажет тебе то же, что и я: если уж ты вознамерился посвятить жизнь ближним, следует щадить свое здоровье, чтобы всегда быть готову послужить им. Ты же, по-моему, близок к обмороку.

— Это из-за духоты, — прошептал Святой, как всегда, почти не размыкая губ, отчего лицо его исказилось неприятной гримасой. Голос его потерял мелодичность и глубину, стал грубее.

— Брат мой, — заговорил приор, — советы мэтра Майара весьма разумны. Если речь идет о здоровье, то нет человека, который присоветовал бы тебе лучше, чем он. Доктор прав: даже ради твоей миссии тебе стоило бы поумерить усердие.

— Ты же весь дрожишь! — воскликнул врач. — У тебя наверняка сильный жар.

Он подошел к Святому, собираясь взять его за руку, но тот вскочил и попятился от него. В тусклых глазах странника вспыхнули злые огоньки.

— Я должен побывать еще вот там, — сказал он тем же приглушенным голосом и повел рукой в сторону лачуг.

Явно превозмогая слабость, он решительно подошел к ближайшей лачуге и вошел в нее.

Врач тотчас двинулся следом, сокрушенно качая головой: он лучше многих знал, что это за логово. Брат Роз с лекарствами последовал за врачом, приор же так и не смог заставить себя подойти к жилищу, от которого разило, как из клоаки. Он присел на землю и стал ждать.

Когда Жан Майар вышел из убогой юдоли, он выглядел странно: трудно представить себе озабоченного сатира. Совершенно серьезным тоном, какой обычно был ему не свойственен, он сказал приору:

— Приор, не сочтите за шутку, но этот человек и впрямь не от мира сего. Я видел, что он там делал… это переходит границы естества — ведь здешних больных можно сравнить разве что с разлагающимися трупами. Я врач, да и сам прокаженный, и то не могу пересилить себя и прикасаюсь к ним только кончиками пальцев в перчатках, при этом отвернув голову в сторону. А этот даже не вздрогнул…

— И с ними он тоже?..

— Да, мой приор. Он и с ними обнимался, прижимался к ним так же пылко и самозабвенно, как раньше к другим прокаженным.

Томас д'Орфей был ошеломлен. Казалось, дар речи покинул его — он никак не мог найти слова, чтобы выразить всю меру своего восхищения. Наконец, сделав над собой усилие, он выговорил тихим голосом:

— На какую же смелость, на какое великодушие подвигает Бог своих избранников! Я потрясен… устыжен, уничтожен!

— Я тоже, — признался врач.

— Все люди братья, не правда ли? — раздался за их спинами приглушенный голос странника.

Друзья вздрогнули от неожиданности. От этого голоса, почти лишенного интонации, мороз продирал по коже.

Обойдя все лачуги, Святой присел отдохнуть перед дальнейшей дорогой. Сидел он неподвижно, сложив руки на груди.

Врач с приором направились было к нему, но их внимание отвлек порыв ветра, неожиданно налетевший сзади. Они невольно повернулись, чтобы подставить потные лица упругой струе воздуха, и тут заметили перемену в пейзаже, открывающемся с высот Больной Горы: пыльная завеса, еще недавно покрывавшая равнину, слегка переместилась, сквозь

разрыв пробилось солнце, на какое-то время высветив то, что творилось внизу.

Как они и предполагали, на дорогах царило необычайное оживление. Брат Роз, обладавший весьма зоркими глазами, смог даже описать, как выглядят повозки, всадники и пешие. Насколько он мог разобрать, все они двигались в одну сторону — из города.

— Это похоже на какой-то исход или паническое бегство, — задумчиво сказал Жан Майар, — Понятно, сейчас война, но чтобы такое… Странно все это.

Ветер то налетал, то затихал ненадолго. Вдохнув полной грудью новую струю воздуха, приор вдруг встрепенулся и не без тревоги глянул на своего друга. Тот озадаченно вынюхивал что-то в воздухе.

— Вы, кажется, тоже уловили этот запах?

Жан Майар кивнул и снова повернул нос навстречу порыву ветра.

— По-моему, это запах тления… Может, это от наших несчастных собратьев?

— Но ведь он идет не с горы…. Мы стоим спиной к лачугам, а это зловоние несет ветер. И я готов поклясться, что лепра пахнет по-другому.

Друзья еще какое-то время стояли молча, размышляя об одном и том же. Постепенно ветер стих, и зловоние рассеялось. Они вновь обратили свои взоры к страннику — тот по-прежнему неподвижно сидел на земле. Тут их внимание опять было отвлечено, на сей раз пронзительным дробным звуком трещотки. Он доносился откуда-то сверху и, кажется, приближался.

2

От этого звука по всей Больной Горе поднялась паника, как от колокольного набата. Прокаженные громко взрыкивали, предупреждая друг друга; захлопали, закрываясь, двери и окошки лачуг.

Юноша, который нес поклажу приора и доктора, бросил все наземь и опрометью бросился вниз по склону. А брат Роз задолдонил дрожащим голосом:

— Негр, это негр! Негр! Негр!..

Добрый брат Роз без малейших признаков гадливости обходил со врачом самые омерзительные места лепрозория, помогая ему умащивать и перевязывать гниющую плоть больных. Но заслышав трещотку абиссинца, он начисто лишился мужества. И прежде, сопровождая Жана Майара в верхний лепрозорий,

славный монах всякий раз останавливался, не доходя до вершины, и врач поднимался далее уже в одиночестве. Да и самому Жану Майару перед встречей с африканцем приходилось призывать на помощь доброту и совесть, свойственные его ремеслу, и рассудительность, подобающую истинному философу.

Звук трещотки все приближался, и врач решил по-своему развлечь приора.

— А вот и сам Черный Дьявол грядет к нам с горних высей. Сдается мне, великий Данте все же ошибся: перепутал дно тартара с макушкой горы, — сказал он голосом, в котором, впрочем, недоставало уверенности. — Не правда ли, наш лепрозорий располагает всеми атрибутами преисподней?..

Приора било крупной дрожью, ноги у него ослабли, и он не смог ответить ни единым словом.

Наконец на повороте тропы показалась фигура, неизменно наводившая ужас на всех насельников лепрозория.

Странник мгновенно сбросил покров отрешенности, вскинул голову, потом поднялся. Его шатнуло, но воля и целеустремленность тут же восторжествовали над немощной плотью.

Негр остановился на некотором расстоянии от странника, явно удивляясь, что тот не бежит при виде его, хотя африканец был в сером балахоне с красной нашивкой в виде сердца, а лицо укрывала черная повязка.

Странник распахнул объятия и шагнул ему навстречу.

Приор же метнулся к страннику, и у него само собою вырвалось:

— Нет-нет, брат мой! Не надо этого! Это неугодно Господу! Богу не нужны такие жертвы!

Странник сделал еще шаг к африканцу.

Приор застыл в бессильном отчаянии.

И в этот момент, словно бы для того, чтобы еще усилить это отчаяние, налетел порыв ветра и вновь наполнил воздух тем же удушающим зловонием, что недавно встревожило друзей. В одно мгновенье весь лепрозорий захлестнули невыносимые, перехватывающие дыхание миазмы, вытеснив на какое-то время стойкую, но привычную вонь проказы. И приора, и врача передернуло от омерзения, странник же как ни в чем не бывало шел к прокаженному негру.

Тот тоже учуял зловоние, но среагировал на него странно: порывистым движением — так птица оборачивается в сторону опасности — он повернул скрытое повязкой лицо в сторону равнины и застыл, будто увидел там некое знамение.

Заметив приближающегося к нему странника, африканец так

же резко вернул голову в прежнее положение и глянул Святому прямо в глаза.

У приора напрочь сдали нервы, и он заорал не своим голосом:

— Остановись! Именем Господа нашего, стой! Истинно говорю тебе: Бог отвергает такие жертвы! Это уже от лукавого! Такая вонь…

— Такая вонь… — тихо повторил за приором Жан Майар. — Сдается мне, что однажды, еще в Италии… — врач был явно озадачен, от напряжения, с каким он пытался восстановить в памяти впечатления давно минувших дней, лоб его прорезали глубокие морщины. Но он тут же умолк — приору и монаху было не до него: оба неистово крестились.

Странник стоял вплотную к прокаженному африканцу. На этот раз демонстрация братской любви и милосердия, кажется, достигла апогея: яростным движением он сорвал с его лица повязку — и ничем не прикрытое лицо негра предстало взорам лепрозория, огромное, непомерно разбухшее, все какое-то складчатое и не просто черное, но угольно-черное, точно лик самого диавола, изрытый к тому же гнусными синеватыми бляшками лепры. Стиснув этот воплощенный кошмар ладонями, Святой приник губами к щеке абиссинца.

Объятье было кратким. Едва достигнув кульминации, действие, к вящему недоумению зрителей, понеслось к развязке: негр, вцепившись обеими руками в капюшон Святого, оттолкнул его голову от себя. Лицо его, в котором осталось мало человеческого, выражало теперь вполне человеческий испуг. Несколько мгновений он стоял так, глядя в лицо страннику, потом, не отпуская его, все тем же движением встревоженной птицы повернул голову в сторону равнины. Ноздри его трепетали, будто он желал насытиться душными остатками зловонного веяния. И пока он вот так, едва не сворачивая шею, смотрел на равнину, испуг на его лице сменялся паническим страхом, а во взгляде, который он в конце концов перевел на Святого, читался переполняющий его душу ужас. Рот абиссинца, обезображенный гнусными наростами, вдруг открылся, и из него вырвался такой пронзительный вопль, что от него, казалось, содрогнулась вся Больная Гора, а прокаженных верхнего лепрозория наверняка пробрал озноб.

С пугающей яростью африканец отшвырнул от себя Святого, и тот, отлетев на несколько шагов, рухнул наземь, распластался, словно поломанная кукла, и замер.

Негр же, издав истошный вопль, повернулся к Жану Майару, выкрикнул несколько слов на своем варварском языке и, посылая,

должно быть, проклятия Небесам, устремился к своему логову, сопровождаемый звуками привязанной к поясному вервию трещотки,

3

Когда негр скрылся с глаз, Томас д'Орфей несколько успокоился. Еще раз осенив себя крестным знамением, он спросил своего спутника:

— Что он сказал?

Жан Майар не торопился с ответом. Он заметно побледнел, лицо его как-то осунулось, а лоб прорезали глубокие морщины. Отрывочные, бессвязные воспоминания и впечатления давно минувших дней будоражили его память, но все они имели какое-то отношение к нынешним ощущениям. Вновь и вновь проносились они в его сознании и начали уже было слагаться в нечто целое, обретать смысл, который можно выразить словами, — и врач оцепенел от одного только предчувствия близкого открытия истины. Все это лишало его обычного хладнокровия. Наконец он вымолвил дрожащим голосом:

— Он сказал… Честно говоря, я понял только одно слово: «черная»… Дайте подумать… Он сказал «черная»… Да-да, он помянул что-то черное… Я совершенно уверен, это слово из его языка я очень хорошо усвоил. Он часто повторял его, колотя себя в грудь. Таким образом он объяснял мне, кто он, какой у него цвет кожи… Но что он хотел сказать сейчас?..

Рассуждения врача прервала новая смрадная волна. Он обмахнулся ладонью, подошел к распростертому Святому и нелюбезно спросил:

— Послушай-ка! Ты ведь пришел из города, значит, должен знать, что творится на равнине. Мы сначала подумали, что там какой-то праздник…

Жан Майар вдруг осекся и вскрикнул; взор его приковало лицо странника. Мертвенно бледное, оно, казалось, разлагалось на глазах.

— Этот человек умирает, мой приор! — воскликнул врач.

— Да-а уж, праздник… небывалый праздник! — приглушенно пробормотал Святой, и лицо его исказилось жуткой гримасой.

Он попытался подняться, но голова его тяжело поникла. Он опустил веки и больше не шевелился.

Жан Майар, сразу забыв обо всем, самозабвенно предался отправлению своих обязанностей: опустившись рядом со странником на колени, он приложил ухо к его груди.

Почувствовав прикосновение, Святой открыл глаза, и его

лицо озарилось улыбкой, больше похожей на оскал. Из последних сил распахнув объятья, он судорожно прижал к себе врача, шепча:

— Брат мой!.. Все люди братья…

Жан Майар грубо высвободился. Теперь на лице врача читался тот же страх, что он совсем недавно видел у абиссинца, ноздри его точно так же трепетали, он еще больше побледнел.

— И куда же отлетел аромат святости, окружавший этого посланника Небес, мой приор?! — горестно спросил врач. — Осталось одно зловоние, сродни тому, что ветер наносит сюда из города. Впрочем, по-вашему, это, наверное, и не вонь вовсе, поскольку не походит на запах проказы!..

Укоризны врача прервал странник, которого все это время била лихорадочная дрожь. Ее нездоровая энергия наконец прорвалась потоком слов, казавшимся бессвязным:

— Праздник, говорите? Ах, какой веселый праздник! С процессией!.. Шествие обреченных… колесница мертвецов… ночью. Я один сопровождал колесницу, больше никто не осмелился. Я один сбрасывал на погосте покойников… и других, полумертвых. А едва я отъехал… появились волки, стали разрывать могилу. Кроме меня никто больше не смел сопровождать колесницу… Но… Все люди братья, не правда ли?.. — с трудом выговорив это, он вдруг зарыдал, точнее, взвыл.

И друзья услышали его настоящий голос. Впервые он раскрыл рот во всю его ширь. Должно быть, миссия его свершилась, и ему не было больше надобности стискивать челюсти.

Язык странника, который ему до сих пор удавалось скрывать от взоров, начал распухать, наверное, еще вчера, и теперь видно было, что он раздулся, как винный бурдюк, сделался черным, пожалуй, даже иссиня-черным. Такого же цвета было и небо вокруг, небо, под которым теперь гнусно воняло серой.

— Доктор!.. Мой дорогой чудесный доктор, я узнал тебя! Когда меня поразила болезнь, ты отважно подошел ко мне… на десять шагов, на целых десять шагов, в страшной маске, продымленной ладаном, — причитал странник сквозь рыдания. — Это ты велел заколотить мою дверь гвоздями, но ты забыл про окна… и кое-что из своих благовоний тоже забыл… Это ты запретил людям приближаться к моему жилищу, ты написал на его стене: «Оборони нас, Господи»[8].

— Оборони нас, Господи! — эхом отозвался Жан Майар. Он стоял столбом, будто его поразил гром небесный.

— …Но меня-то никто не защитил… А я вот не побоялся пойти к прокаженным. У лепры нет власти надо мною. Я подарил поцелуи тысяче прокаженных и тебе тоже, расчудесный прокаженный доктор. Говоришь, проказа убивает медленно? Ха-

ха!.. Ну как, разве я сам не отличный врач? Лучший из врачей, не правда ли?

— Приор! — отчаянно возопил Жеан Майар, выходя из оцепенения. — Мой приор! Ваш Святой… Наш Святой!.. — он в ярости бросился к страннику, но тот и без того рухнул навзничь и потерял сознание.

Врач торопливо задрал одежды Святого до самой шеи, разорвал на нем белье. Приор увидел, как Жан Майар пошатнулся и отпрянул, обнаружив несомненные признаки: жуткие вздутия, набухшие черные язвы погребальным саваном покрывали тело странника, гроздьями скапливались в паху и под мышками.

Жан Майар разразился жуткими проклятьями, его трясло от бешеной ярости. Указывая на роковые отметины, он крикнул своему другу:

— Да ведь эта болезнь в сотни раз заразнее и в тысячу раз страшнее, чем наша лепра, мой приор! Она убивает в пять дней! Это чума, приор! ЧЕРНАЯ ЧУМА!

Просчет финансиста (Интерференция) [9]

Новелла

Было десять часов вечера. Померкли последние отсветы длинного летнего дня, и лес, окружавший виллу, превратился в размытую черную массу. В одной из комнат первого этажа, которая служила кабинетом, Малерт в рубашке, без пиджака, сидел за письменным столом спиной к окну, выходящему в сад. Скромно обставленный кабинет его сверх обыкновения был ярко освещен люстрой и еще несколькими маленькими лампами, расставленными в разных углах: в эту ночь хозяину дома требовалось очень много света. Окно было приоткрыто, и каждый, окажись он сейчас в этом темном саду, смог бы без труда разглядеть, что происходит внутри залитой светом виллы. Именно это и нужно было ее владельцу.

Малерт довольно часто приезжал сюда, чтобы проводить свои уик-энды в этом уединенном загородном доме, где ему удавалось поработать в полной тишине. Сегодня вечером он уже начал одно письмо, но теперь на какое-то время вдруг прервался, откинулся назад, на спинку стула. Держа ручку, он смотрел на лежащий перед ним лист бумаги, не видя его, и размышлял, перебирая в памяти одну за другой подробности истории, в которую оказался невольно втянутым.

Он никогда ничего не боялся. Малерт был смелым человеком. И доказывал это неоднократно в разных обстоятельствах. Вот и нынешней ночью он приготовился в очередной раз сделать блистательное тому подтверждение. Разве что чувствовал себя слегка взвинченным и в общем озабоченным мыслью о том, что может упустить какую-то существенную деталь в сцене, которая должна будет разыграться здесь, то есть в спектакле, который собирается ставить он сам.

Малерт был финансистом. По-разному шли дела его фирмы, и он привык к превратностям судьбы. Но в последние несколько месяцев стало очевидно, что он приближается к краху с неизбежностью, приводящей в отчаяние. Оказавшись по уши в долгах, атакуемый со всех сторон конкурентами, на снисходительность которых нечего было и рассчитывать, он чувствовал себя на краю гибели. Что привело его к этому? Невезение, неуверенность в своих силах, чрезмерный риск? Когда-

то прежде он допускал разумный риск в делах, но нынче любые начинания Малерта оборачивались против него же.

Этот роковой период начался с тех самых пор… он помнит тот злополучный вечер, когда внезапно обнаружил, что утратил любовь Сильвии, своей жены. Болезненная гримаса исказила его рот при печальном воспоминании о безумной ярости, которая тогда захлестнула его, едва он получил доказательства того, что Сильвия обманывает его, впутавшись в банальную историю: постыдную, как полагал Малерт, связь с Виаром, молодым человеком без определенной профессии, которого он взял к себе на службу сначала в качестве секретаря, а затем сделал своим доверенным лицом. И ведь только из чистой симпатии, потому как не считал его способным даже к такого рода работе.

Из чистой симпатии… Вот и Сильвия попалась на тот же крючок. Закрутила пошлый любовный роман с этим беспутным Виаром. И надо же было Малерту еще и частенько приглашать его в гости! Это ничтожество, эту посредственность, этого человека, не сумевшего добиться хоть какого-нибудь положения в обществе. Было, правда, у Виара одно недосягаемое для Малерта преимущество — молодость: Виар оказался ровесником Сильвии, которая была на двадцать лет моложе своего мужа.

Значит, это судьба. Финансист снова обмяк лицом — злость прошла. И все же он корил себя сегодня за свой необузданный гнев, которому дал волю, когда почти в безумном состоянии расправился с любовником, вышвырнув его за дверь. Теперь он простил его. Малерт решил, что должен был сделать это, — а он никогда не менял своих решений. К тому же сегодня вечером, именно сегодня вечером, более чем когда-либо ему хотелось помнить только те дни их нежной любви с Сильвией, когда они поженились: ее совсем юную, себя — в расцвете сил…

Воспоминания нахлынули с такой силой и отчетливостью, что Малерт не смог подавить в себе страстное желание снова увидеть ее такой, какой она была в ту пору: он поднялся и направился к старому секретеру, на котором стояла фотография прежней, юной Сильвии. Проходя мимо окна, он инстинктивно украдкой глянул в ночную тьму и неожиданно еле заметно вздрогнул. Потом, слегка взволнованный, схватил снимок Сильвии и долго всматривался в него. Финансисту захотелось вдруг перенести фото на письменный стол, чтобы поставить перед собой. Но, опомнившись, он тут же водрузил его на обычное место и живо вернулся к своему стулу.

— Глупо, — подумал он вслух. — Это может вызвать подозрения.

Он собрался было снова сесть, но, спохватившись, решил, что

следовало бы в последний раз внимательно осмотреть комнату.

В углу ее, хорошо освещенном, стоял распахнутый настежь сейф, который не мог не привлечь внимания любого случайного бродяги, отважившегося заглянуть в ярко освещенное окно. Хотя ничего противоестественного в этом факте вовсе не было: все секретари Малерта знали его привычку к беспорядку. В сейфе лежала довольно толстая пачка кредитных билетов. Он еще раз пересчитал их: сумма была приличной — двадцать пять тысяч новых франков. Такую он уже погасил. Эта составляла сальдо, разницу, которую ему удалось урвать в результате последней финансовой операции… Он должен был красть, причем, нисколько не смущаясь, чтобы раздобыть себе такую сумму. Да, он вор! Но ведь не какой-то там взломщик-грабитель, а вор тонкий и умный — злоупотребляющий доверием, занимающийся подделкой документов. Завтра, должно быть, его махинации откроются всем. Но это уже неважно. Главное для него было в том, чтобы обеспечить будущее Сильвии, ее безбедное существование и счастье, пусть даже с Виаром. Он решил так однажды и навсегда.

Когда улеглась его первая ярость, вызванная изменой жены, случилось так, что неожиданно для самого себя Малерт стал испытывать к ней необъяснимо трогательные чувства; и день за днем, чем больше он мрачнел, думая о ее будущем, тем сильнее его пронзала неуемная жалость к жене. Он разбирался в людях. Так он, по крайней мере, считал, и потому был уверен, что Виар никогда не сможет добиться блестящего положения в обществе (во всяком случае, с тех пор, как Малерт пристрастно следил за ним, тот находил себе лишь малопривлекательные, непрестижные должности), то есть Виар просто не способен заработать достаточно денег, чтобы сделать жизнь Сильвии счастливой. Мысли о счастье по-прежнему любимой жены стали до такой степени навязчивыми, что вытеснили все другие желания. В женщинах он как будто тоже разбирался. И был уверен, в частности, что прекрасно изучил нрав и вкусы Сильвии. Он знал о ее любви к роскоши — и немало средств вложил в то, чтобы окружить ее великолепием, достойным ее красоты, особенно в пору расцвета.

Не мог он и теперь оставить ее без единого су. Хотя, конечно, это было бы концом ее связи с Виаром, концом их любви. Недостойная, — убогая месть. Что с того? Эта месть погубила бы ее. Потому он должен был помочь ей. Когда Малерт принял это решение, потемневшее и осунувшееся от бессонных ночей лицо его постепенно приобрело прежнюю выразительность и энергичность. Вот и сегодня вечером уже не было синевы под

глазами, а на безмятежном лбу Малерта даже, казалось, слегка расправились морщины.

Пересчитав, он снова положил деньги на место, в сейф. Наличие такой значительной суммы здесь, на вилле, вряд ли могло показаться правдоподобным, но денег и не найдут. Обнаружатся, однако, следы кражи: распахнутый опустошенный сейф и один валяющийся, на паркете банкнот, будто нечаянно выскользнувший из рук взломщика, поспешающего скрыться. Кредитка была уже на полу — Малерт позаботился об этом, и теперь он лишь слегка поправил ее положение. Затем он еще раз удостоверился в том, чтобы входная дверь оставалась немного приотворенной, окно приоткрытым; на нужном месте стоял стул, а на бюваре лежало неоконченное письмо. Как будто бы все верно. Никакой ошибки он не нашел. В Париже он успел навести кое-какой порядок в своих личных бумагах. Однако совсем небольшой: потому как ничто не должно было выдать задуманный им план. Важно только, чтобы Сильвия легко нашла страховой полис (два миллиона новых франков), оформленный на ее имя в последние месяцы. Он вынужден был влезть в новые долги, чтобы внести страховые взносы, но зато с этими деньгами Сильвия могла продолжать вести привычную для нее жизнь в течение немалого времени. С Виаром? Или, может, позже с кем-то другим? Не все ли равно, главное — ближайшее будущее ей он обеспечил. Что же касается кредиторов, с этой стороны неприятностей не последует: они не вправе посягнуть на ее собственность.

Итак, мизансцена подготовлена им безукоризненно. Оставалось лишь снова сесть за стол спиной к окну, в центре искусно воссозданной им декорации, в соответствующей позе — с подставленным для выстрела затылком. И ждать последнего акта спектакля. Убийца мог приступать к делу.

Убийца был недалеко: во тьме леса, рядом с виллой, светящееся окно которой он заметил сквозь чащу деревьев. Он ждал только часа, когда ночной мрак целиком опустится на землю, чтобы действовать в полной безопасности. Все было продумано так тщательно и детально, что его «миссия» казалась ему совсем пустяковой, к тому же место было уединенным и безлюдным (прислуга и садовник жили в деревне, в нескольких километрах отсюда и появлялись только по утрам), да и со стороны жертвы никакого сопротивления не предвиделось. Благоприятное сочетание этих условий заставило его, вопреки принятым в его кругу расценкам, согласиться на довольно низкую плату за такого рода услугу.

Сделка была заключена на террасе одного кафе, где они назначили друг другу свидание по телефону через посредника, человека, с которым Малерт познакомился еще в годы войны и чья порядочность не вызывала сомнений. Информация о Малерте пришлась убийце по душе: известный финансист, конечно же, не имел никаких дел с полицией. И потому, недолго думая, решился на встречу с ним. Он сам выбрал кафе, зная, что там наверняка нет записывающих разговоры устройств.

Малерт понравился ему своей непосредственной манерой вступать в переговоры. Без всяких лирических отступлений финансист напрямую повел речь об убийстве человека за пятьдесят тысяч франков — и ни на су больше. Просто пятьдесят тысяч представлялись Малерту самой крупной суммой, какую он смог бы собрать путем финансовых махинаций. Убийца тотчас понял это.

Тем не менее убийца слегка изумился, когда, не дав возможности поторговаться, финансист обозначил в качестве жертвы самого себя. Он и вправду удивился — немного, но не более того. Случай для него был не новый. В глубине души он даже обрадовался: добровольная жертва упрощала его работу и исключала любую попытку разоблачить его как преступника, окажись он на грани провала, что, впрочем, было маловероятно. Малерт, правда, намекнул еще, что оставляет за собой возможность шантажировать его в случае разглашения тайны сговора. На том и завершена была сделка, очень быстро. После чего убийца уже вполуха слушал объяснения финансиста:

— Понимаете, необходимо, чтобы я исчез, но не думайте, что мне не хватает мужества самому покончить с собой. Я не боюсь, уверяю вас. Только… — ему явно хотелось прояснить ситуацию. Убийца с неожиданно пробудившимся любопытством откровенно, в упор рассматривал Малерта, с оттенком одобрения во взгляде. — Только дело в том, что в случае самоубийства жене не выплатят деньги по страховому полису, и контракт аннулируется.

— А вы, значит, рассчитываете на то, что ваша жена получит деньги по страховке? — совершенно безразличным тоном спросил убийца.

— Разумеется.

Убийце казалось, что тема исчерпана. Палача, как правило, мало интересуют личные дела жертвы.

Малерт же, напротив, принялся подробно расписывать мотивы своего поступка.

— Но для этого необходимо либо убийство, либо несчастный случай. Я думал о несчастном случае, но, полагаю, он выглядел бы подозрительно на фоне моих финансовых дел и может повлечь

за собой углубленное расследование со стороны страховой компании, — говорил он хорошо поставленным голосом, чеканя каждое слово, как если бы делал доклад о финансовой деятельности.

Убийца был убежден, что Малерт не лгал.

— …Так вот, если вы будете действовать строго по моему плану, повода усомниться в убийстве не будет, — тон Малерта был доверительным, располагающим к себе собеседника, потому приветливое выражение не сходило с лица убийцы: как исполнитель он вовсе не противился тому, чтобы выслушивать четкие инструкции, и даже чувствовал, что проникается симпатией к финансисту.

Закончилась встреча очень просто: Малерт рассказал в деталях задуманный им план, а затем тут же, в кафе, сразу вручил убийце половину назначенной суммы, вторую половину которой тот возьмет в сейфе на вилле, то есть она окажется в его распоряжении, когда дело будет сделано.

Итак, честная сделка, основанная на взаимном доверии, заключена. Они расстались, скрепив контракт рукопожатием, в данном случае едва ли уместным — отчего, должно быть, ему и предшествовало некоторое замешательство «сторон».

Убийца прислушался. Никаких подозрительных звуков он не уловил. Лес спал. Он взглянул на часы и решил, что пора пробираться сквозь сад к дому. И хотя он продвигался почти бесшумно, легкий шорох его шагов взбудоражил Виара, который еле удержался от рывка, заметив крадущийся силуэт.

Виар пришел сюда в этот вечер тоже с определенным намерением. Возможно, он был все же более решительным человеком, чем представлял его себе Малерт, и вполне способным как принимать смелые решения, так и претворять их в жизнь. А может, им руководила страсть, которую он испытывал к Сильвии, и одновременно стремление отстоять свое? Так или иначе, два могучих мотива: любовь и жажда мести — толкали его к тому, чтобы убрать с дороги бывшего патрона.

Это желание овладело им еще тогда, в тот день, когда Малерт, нанося побои и оскорбления, вышвырнул его на улицу, к тому же сделал это в присутствии свидетелей, его коллег. У финансиста сдали нервы и он не смог справиться с собой, когда понял, что обманут, обесчещен, и по улыбкам некоторых догадался, что весь персонал был в курсе амурных дел его жены. Виар был унижен и взбешен, и, попадись ему в тот момент оружие, он, не задумываясь, воспользовался бы им. Позже эта

мысль также не раз приходила ему в голову. Только любовь Сильвии, полагал он, способствовала отрезвлению его опьяненного яростью рассудка. Потом и сама она убеждала его, что и после огласки в их отношениях ничего не изменится. Но поддерживать их теперь стало намного труднее, и смутное мимолетное желание убить финансиста появилось вновь, когда он ощутил, какое множество осложнений возникает всякий раз на пути к свиданиям с тех пор, как дом для любовников оказался под запретом. Ненависть к Малерту росла день ото дня. Внешне как будто смирившийся со своей участью, Малерт уже одним только своим существованием мешал Виару всецело обладать Сильвией.

Ее присутствие, а то и просто лишь сознание того, что она есть, живет на белом свете, были для него блаженством. Однако Малерт — вот единственное препятствие для безоблачного счастья двух любящих сердец. Он твердил ей об этом постоянно. Она уже имела объяснение с мужем, но тот наотрез отказал ей в разводе, сказала она Виару. Это было правдой. У него действительно были на то веские причины, влюбленные не могли их себе даже представить: Малерт был занят тем, что вынашивал свой собственный план действий, обдумывал выход из создавшегося положения, выход, который устроил бы всех.

Виар же все чаще сжимал кулаки в бессильной злобе, и всякий раз, когда образ соперника возникал в его воображении, мысль о его устранении обозначалась четче.

Вскоре она стала настолько отчетливой, что можно было рассматривать ее уже как намерение. И разрабатывать черновик плана для осуществления этого намерения. Самым подходящим местом для этого виделась ему, конечно же, загородная вилла финансиста, расположенная в лесу, стоящая особняком, вдали от деревни. Он знал, что Малерт часто проводил там в одиночестве свои уик-энды. Но как только известные события внесли изменения во взаимоотношения супругов, Сильвия почти ни разу не сопровождала его туда. Пожалуй, трудно отыскать более выгодные условия для осуществления этого намерения Виара. Он хорошо знал виллу и прекрасно изучил окрестности. И потому мог очень просто и незаметно подойти однажды ночью к окну, рядом с которым обычно часто допоздна работал Малерт. Ну а убежать потом отсюда лесом — было сущим пустяком.

В общем, убить его, и даже безбоязненно, не составляло труда. Но, скрупулезно анализируя ситуацию, Виар старался предупредить последствия, которые, возможно, поставили бы его в затруднительное положение. То есть необходимо было надежное алиби для него и Сильвии. Это преступление должно

принести только счастье, но не разлучить их! А ведь после дикой сцены, разыгравшейся на публике, и отвратительных угроз, высказанных обеими сторонами, любовник Сильвии, без сомнения, будет заподозрен первым, так как служащие Малерта не знали, что его связь с хозяйкой дома продолжалась.

Обстоятельства, которые способствовали тому, чтобы облегчить убийство: прекрасная осведомленность о привычках его бывшего патрона и детальное знание окружающей обстановки — в равной степени могли сработать и на обвинение Виара. Существовала опасность появления новых улик против него в ходе судебного следствия. Кроме того, что он часто бывал на вилле в качестве гостя супругов, Сильвия еще и выбирала ее иногда местом их любовных свиданий, когда они были уверены, что Малерт занят где-то неотложными делами. Уборка там делалась небрежно, и отпечатки его пальцев нашли бы повсюду, включая спальню. Собираясь совершить идеальное преступление, Виар не пренебрегал ни единой мелочью. Вообще именно дотошливость, свойственная его, Виара, небогатой натуре, подтолкнула некогда Малерта приблизить к себе своего бывшего секретаря.

Дни и ночи мозг Виара лихорадочно работал, перебирая варианты умозрительно выстроенных планов, стремясь выдать один-единственный, сведенный к минимальному риску. Чтобы почерпнуть опыт в такого рода делах, он даже прибегнул к помощи полицейских романов и разделов криминальной хроники в газетах, давая таким образом пищу своему воображению для поисков достаточно безопасной версии, позволяющей обойти правосудие. Хотя, впрочем, и при отсутствии каких-либо улик против него, Виар все равно не остался бы вне поля зрения следствия, так как сама связь с Сильвией уже бросала на него тень. Надо было искать выход из тупика.

Он запасся терпением в надежде на то, что время все же подскажет решение, гарантирующее ему безнаказанность. Он наблюдал соперника издалека и был в курсе всех его дел, благодаря приятельским контактам, которые поддерживал со своими бывшими сослуживцами по конторе Малерта. Инстинктивно Виар чувствовал, что эта осведомленность однажды сослужит ему службу. Так, не без удовольствия для себя, он выяснил, что дела Малерта шли из рук вон плохо. А когда Виар удостоверился еще и в том, что финансист не в состоянии выбраться из сложившейся ситуации, то есть оказался на грани разорения и почти банкрот, которому грозит бесчестие, — в тот день его горизонт засиял триумфальным светом. И тотчас его озарила блестящая идея, простая, как все гениальное, к тому же

способная удовлетворить его затаенные желания и исключающая малейший риск.

Сегодня вечером он пришел сюда, чтобы исполнить задуманное. Внезапное появление в саду неизвестного человека перевернуло все его расчеты, и Виар чуть было не выдал себя, потому как рефлективно хотел броситься наутек, чтобы выждать более подходящий момент для осуществления своего плана. Но поведение неизвестного удержало его на месте. Судя по манере, с какой тот передвигался во тьме, человек этот пришел на виллу с тем же намерением, что и Виар. Скорее всего, бродяга, промышляющий преступным ремеслом. Виар принялся наблюдать за ним, стараясь не обнаруживать себя, что, кстати, было легко: он замирал на месте, когда тот останавливался, и снова трогался вслед за чужаком, когда тот продвигался вперед, к дому. У Виара было такое впечатление, будто он присутствует на репетиции собственного сценария, и как бы раздвоился, став одновременно исполнителем и зрителем преступления, которое замыслил сам.

Убийца очутился, наконец, рядом с домом, в последний раз остановился, прислушиваясь, потом подкрался к окну. Виар теперь мог отчетливо разглядеть его и успел заметить, что преступник, как и он, также был в перчатках и с пистолетом в руке.

Малерт сидел не шелохнувшись с того самого момента, как удостоверился в безукоризненности созданной им мизансцены, которая гарантировала ему возможность покинуть этот мир со спокойной совестью, обеспечив будущее той, которую любил. И преисполненным чувства собственного великодушия, опершись локтями на плоскость стола, он слегка склонился вперед, обратив неподвижный и сосредоточенный взор к неоконченному письму.

Он выбрал для него самое пустое и самый банальное содержание, чтобы создать видимость настроения, очень далекого от печальных мыслей в предсмертный час: Малерт писал заказ владельцу питомника, соседствующего с виллой, где обычно покупал саженцы растений для своего сада. Слева от его бювара лежал каталог этого коммерсанта, открытый на странице с индексом «розы». Письмо начиналось так: «Прошу Вас прислать мне саженцы следующих роз…» Далее следовал список их названий и соответствующий номер в каталоге. Заканчивалось оно словами: «Пять саженцев под номером…» Здесь текст обрывался. Это должен быть тот момент, когда убийца сразит его пулей… Кто скажет, что Малерт помышлял о самоубийстве? Помилуйте! И в мыслях ничего такого не было: ведь еще накануне он отдал распоряжение своему садовнику относительно будущих

посадок!

Довольный тем, что продумал все до мелочей, он даже изобразил на лице подобие улыбки. В чувстве исполненного долга, в своей исключительной самоотверженности он пытался почерпнуть силы для того, чтобы оставаться неподвижным и поддерживать безмятежное состояние духа до последнего мгновения. Но, несмотря на предельное мужество, его начинал охватывать жуткий страх, вызванный этим изматывающим нервы похоронным ожиданием. И потому всей душой он жаждал быстрого конца.

Легкий шорох в саду заставил его вздрогнуть. «Наконец-то!» — прошептал он. Чувства его, обостренные внутренним напряжением, не изменили ему: он мысленно воспроизводил теперь жест своего убийцы, поднимающего пистолет. И тут Малерт вдруг едва заметно пошевельнулся, потому что не смог удержаться, чтобы не повернуть слегка голову вправо, в направлении фотографии Сильвии. Как раз в этот миг пуля настигла его, угодив рядом с виском, в точку, немного смещенную от середины затылка, куда целился убийца. Но это не меняло ничего в сценарии: боясь промахнуться, тот выстрелил почти в упор, просунув оружие в приоткрытое окно. Голова Малерта рухнула на стол замертво.

Убийца не терял времени даром. Едва только смолкло эхо выстрела, он проник в комнату и первым делом принялся рассовывать по карманам пачку кредиток. Затем обшарил взглядом пространство вокруг себя, задержав его на трупе едва ли не на долю секунды. Роль его, совсем легкая, была сыграна. Теперь ему оставалось только исчезнуть отсюда. И этот последний акт не длился и минуты. Вот он уже на пороге двери, которая все это время была открытой.

— Стойте! И слушайте меня!

Убийца дернулся, пытаясь нырнуть в густой мрак сада, но наткнулся на дуло, направленное на него. Привыкший с первого взгляда оценивать такие опасные, как эта, ситуации, он понял, что шансов у него нет. Невидимый собеседник стоял, спрятавшись за ствол дерева, тогда как сам он был залит светом — прекрасная мишень даже для неопытного стрелка. Однако логично было предположить, что скрывающийся там, в ночи, вооруженный человек не новичок. Убийца подчинился и застыл на месте.

— Бросьте ваш пистолет в сад! Учтите, малейшее движение — и я убью вас!

Убийца еще раз взвесил свои шансы и пришел к заключению, что они ничтожны. Он с трудом разглядел кисть руки,

сжимающей пистолет. И опять подчинился и выбросил оружие с философским безразличием, свойственным людям этого сорта, особенно в минуты, когда фортуна поворачивается к ним спиной. Захваченный врасплох и расстроенный, убийца пытался утешить себя размышлениями о том, что невидимый его глазам субъект, возможно, промышлял таким же, что и он, занятием, и хотел сейчас лишь одного: завладеть деньгами, которые были взяты из сейфа. Если так, то все можно уладить.

— А теперь убирайтесь, и чтобы духу вашего здесь никогда больше не было!

Убийца колебался считанные секунды, преодолевая оцепенение, вызванное столь неожиданным исходом дела. А он-то ожидал в лучшем случае дележа, в худшем — лишиться заработанных денег. И совсем не стоило просить его убраться отсюда. Даже пистолет, брошенный, по сути, в подарок этому типу, не задержит его здесь, потому что никаких отпечатков найти на нем не удастся, как не удастся и установить происхождение.

Так и не узнав лица ночного собеседника, убийца растворился в ночи.

Действия Виара были результатом быстрых и почти лихорадочных умозаключений, промелькнувших в подсознании в тот момент, когда он обнаружил в саду убийцу и проник в его намерения. Дальнейшие свои ходы Виар просчитывал с логичностью геометрической теоремы.

Сначала он почувствовал глубокое удовлетворение, увидев человека, тоже вознамерившегося убить финансиста. «Освободительный» акт, который решился выполнить он сам, совершает другой. При этом он всё равно будет избавлен от соперника: Малерт устраняется, и никто больше не стоит между ним и Сильвией. Виар же сохраняет чистыми руки и остается вне подозрений.

Вне подозрений… Это суждение, едва сформулированное им, тотчас породило антисуждение, словно вспышка молнии пронзив его мозг в миг, когда раздался выстрел. И внезапно смутная тревога овладела Виаром. В том-то и дело, что как только начнется следствие, все подозрения падут прежде всего на него, наверняка… да-да, и в первую очередь, как если бы выстрел был сделан самим Виаром.

Значит, в любом случае он будет проходить по делу. Итак, он опять вернулся к проблеме, которая была причиной его бессонных ночей.

Где же выход? Впрочем, он опять оказался простым, как

правда, и открылся ему в последний момент, когда убийца уже вошел в дом. Решение этой задачи было таким же ясным и одновременно блестящим, как и выбор первой версии преступления, — то есть версия номер два также не требовала никаких дополнительных усовершенствований или ходов. Виар должен был только строго следовать своему плану, начиная от смерти Малерта, как если бы он собственноручно убил его. Для этого нужно было оружие преступления. Оно у него было. Дальше — просто. Надо лишь последовательно осуществлять действия, столько раз отрепетированные в воображении. Время для этого у него тоже было. Вряд ли выстрел мог разбудить людей в деревне, даже если он был там услышан: мало ли браконьеров нарушают ночную тишину в лесу.

Тогда своей рукой в перчатке он взял пистолет и сам теперь переступил порог комнаты. Виар подошел к трупу. После беглого осмотра он выяснил, что пуля вошла почти прямо в правый висок. Взволно-т ванное лицо Виара осветилось улыбкой: любая другая точка попадания опрокинула бы все его планы, но Небо было с ним! Поэтому он вложил оружие в правую руку еще теплого Малерта и прижал его пальцы к рукоятке пистолета.

Чтение многочисленной детективной литературы заставило его подумать и о некоторых других важных деталях. Скатившуюся со стола ручку он поднял с паркета и сунул в письменный прибор. Потом просмотрел безобидные бумаги, которые финансист с такой тщательностью подобрал для своей «мизансцены»: неоконченное письмо-заказ и каталог. Осторожно взял их со стола и затолкал к себе в карман. Вместо них он положил документ, который раздобыл благодаря общению с новым секретарем Малерта: удручающую своей безысходностью картину: внушительный список главных долгов финансиста.

Он отступил назад и вновь придирчиво оглядел комнату. От его взгляда не ускользнуло ничего, сколько-нибудь существенное для воссоздания правдоподобной версии. Оставалось лишь слегка уточнить еще кое-какие детали. Что он и сделал незамедлительно: закрыл дверцу сейфа, подобрал кредитку, которая валялась на полу, тоже сунул в карман. Держа банкнот в руке, он вспомнил, как, стоя во мраке сада, он заподозрил, что убийца интересуется скорее всего деньгами.

Это подозрение, подумал он, подтвердилось.

Тому, что произошло, он больше не придавал никакого значения. В последний раз Виар внимательным взглядом окинул все вокруг, чтобы окончательно убедиться, что не осталось никаких следов ни от него самого, ни от неизвестного.

Все обстоятельства убийства Виар привел в полное

соответствие со своей версией. Итак, наутро прислуга найдет тело. Приговор правосудия очевиден. Теперь ему остается только удалиться восвояси.

Это он и собрался сделать. Будто жалкий лицедей, на цыпочках, Виар направился к выходу, когда вдруг его взгляд упал на фотографию Сильвии, стоявшую на секретере. Он остановился, и лукавая улыбка скользнула по его лицу. Внезапно его охватил восторг Художника, только что закончившего работу над своим полотном, которое казалось ему достойным высокой оценки, однако в глубине души сознающего, что еще некоего штриха, последнего прикосновения все же недостает его детищу, дабы стать совершенным, — и Провидение неожиданно ниспослало Мастеру вдохновение, побудившее его сделать этот недостающий завершающий мазок: Виар взял в руки портретик женщины, в которой несчастный муж так жестоко обманулся, но не переставал обожать ее до последнего вздоха, — и аккуратно поставил на письменный стол на самом видном месте: чтобы подчеркнуть, что фотография выскользнула из левой руки, в нескольких сантиметрах от окровавленной головы *самоубийцы*.

Сердце и Галактика

Новелла

1

В просторном отсеке обсерватории «Космос» вокруг геридона, круглого столика на одной ножке, сидели трое. То были известные личности, некогда заявившие о себе оригинальными научно-исследовательскими трудами, немного, правда, подзабытыми в ученой среде. Положив на плоскость геридона протянутые руки и сомкнув их вкруговую, они предавались занятию, весьма далекому от научного знания.

— Дух, ты здесь? — уже во второй раз спрашивал Додж, самый старший из троих, обратив взор к потолку.

Лишь гнетущая тишина снова прозвенела в ответ.

После многократного повторения Доджем одного и того же вопроса у Ирквина, все это время казавшегося спокойно настроенным на сеанс, вдруг сдали нервы. Он вскочил, порывистым движением оттолкнул ногой стул, на котором сидел, тем самым нарушив, наконец, повисшую в воздухе бесконечность ожидания, схватил стоявший под рукой стакан с вином и залпом выпил его.

— Идиотское занятие! — раздраженно воскликнул Ирквин.

— А ведь это вы нам его навязали, — возразил Мэлтон.

— Во избежание скуки и отчаяния… Да, дурацкое, глупое занятие или, если хотите, игра, впрочем, столь же безнадежно дурацкая и глупая, как и работа, которую мы почему-то продолжаем здесь выполнять, скорее лишь затем, чтобы убить время. Мы же рискуем сойти с ума!

— Но на такой риск мы пошли сознательно. Однако это не повод, чтобы напиваться так, как это делаете вы.

Ирквин недоуменно пожал плечами, вновь молча наполнил вином стакан и залпом опустошил его.

Никакой шум извне не проникал в этот уголок обсерватории, казавшийся сегодня Доджу нестерпимо мрачным. Без видимой причины он принялся беспорядочно ходить взад вперед.

— А хотите, я поищу Ольгу, и мы сыграем в бридж? — предложил Мэлтон с заискивающим видом.

При этих его словах Ирквин недобро сверкнул очами.

— Да, но мы и вчера весь день играли в карты! — взмолился Додж. — К тому же Ольга сейчас прослушивает эфир у радиоволнового приемника. И мы всегда должны подчеркивать важность этой ее работы. Она еще молода.

Слушая его, Ирквин закатил глаза, изобразив скорбно-ироническую гримасу.

Мэлтон открыл было рот, чтобы возразить, но,

обескураженный, окончательно замолк.

Напряженная тишина повисла в воздухе.

— Почти десять лет, как мы здесь, на Луне, — вскоре заговорил Додж, — но так и не зафиксировали ни единого сигнала, ни малейшего знака или признака, который бы подтвердил существование разума в космосе!

Мэлтон, кажется, все же воспрянул духом, потому что, наконец, заговорил решительным тоном:

— Конечно, мы отлично понимали и рискованность нашей будущей работы на Луне, и вероятность возникновения непредсказуемых ситуаций в ходе этой экспедиции. И все-таки мы здесь! Я почти в точности помню ваши, Додж, слова: «Нам понадобится нечеловеческое терпение. Возможно, что результат наших космических исследований будет уже через четверть часа, но, скорее всего мы должны будем ждать месяцы, годы, может быть, двадцать, а может, пятьдесят лет.»…

Ирквин зло прервал его:

— Не собираетесь ли вы преподать мне теорию вероятностей? Десять лет, я знаю, это ничтожно малый период времени, точнее сказать — мгновение во Вселенной, для того, чтобы уловить какойлибо отчетливый отзвук, а тем более сигнал или признак разума в дыхании Космоса, принимая во внимание случайность проявления его закономерностей. Но мы — люди, мы недолговечны, мы бренны, а ведь здесь, можно сказать, гнием уже целое десятилетие! Эти годы можно было бы употребить на какие-то научные исследования, а не на выжидание. За эти десять лет мы стали просто посмешищем для всего ученого мира!

— Если вы откажетесь от этой экспедиции — от задуманного вами же проекта, который держится лишь на вашем энтузиазме, он потерпит крах, потому что никто из профессиональных ученых, как вы только что сказали, не примет эстафету исследований в условиях нашей космической обсерватории.

— Совершенно верно, — согласился Додж.

— Я тоже знаю это, — буркнул Ирквин. — Разумеется, не все профессионалы такие же безумцы, как я…

— Мэлтон, старина, — ноющим голосом проговорил Додж, — вы же психолог, сделайте что-нибудь, чтобы мы не кисли!

— Глупое развлечение всегда предпочтительнее полнейшего безделья. Попробуем еще раз геридон!

Додж и Ирквин смиренно уселись вновь на свои места за столиком. Сомкнув круг из положенных на него вытянутых рук, они замерли для того, чтобы мгновенно сконцентрировать мысль на спиритическом действе.

И опять Мэлтон неуверенно произнес:

— Дух, ты здесь?..

Раздраженный затянувшимся безмолвием, повисшим над геридоном, Додж собирался снова задать вопрос духу, но то, что произошло уже в следующий момент, заставило неожиданно вздрогнуть всех троих. Дверь резко распахнулась — ив комнату, как показалось всем, несколько театрально запыхавшись, с распущенными волосами и раскрасневшимися щеками стремительно ворвалась Ольга (должно быть, пулей летела из отсека радиосвязи). Какие-то мгновения она оставалась стоять с открытым ртом, переводя дыхание, не в состоянии произнести ни слова. Наконец, обратившись к Доджу (который по образованию и в штате был астрономом, а на борту обсерватории — директором), она сказала странным, изменившимся от волнения голосом:

— Перехвачен сигнал!

И в самом деле, как сказал Ирквин, около десяти лет назад на обратной, неосвещенной стороне Луны обсерватория «Космос» приступила к работам необычного свойства, правда, особой новизной они не отличались от тех, что проводились прежде в мире, Эру таких исследований начала в свое время обсерватория Грин Бэнк, по проекту OZMA (OZMA-1, как принято называть его теперь), которые заключались в том, чтобы прослушивать космическое пространство в надежде поймать искусственный сигнал, направленный землянам, для чего гигантский радиотелескоп был наведен на определенные звезды, у которых предполагалось существование планетарной системы. Сгустки волн этого небесного тела фильтровали, прощупывали, так сказать, на предмет обнаружения послания, отправленного внеземным разумом, который мог быть таким же воплощением мысли, что и человек.

Первый проект OZMA был ограничен во времени и пространстве. Во времени наблюдение продолжалось лишь какие-то сто пятьдесят часов, после чего, из-за отсутствия положительных результатов, поиск сигналов решили прекратить, а телескоп тотчас затребовали на другие работы, якобы более важные для подавляющего большинства ученых. Ну а в пространстве наводка телескопа делалась только на звезды, относительно близкие к нашей солнечной системе[10], так как ученые предпочитали изучать прежде всего планеты, где бы физические условия мало отличались от наших, то есть на которых могла быть жизнь. Кроме того, и средства для поисков использовались довольно скромные: двадцативосьмиметровая антенна и применяемые мощности, разумеется, не смогли бы

уловить сигналы, исходящие с далеких звезд, и, хотя Грин Бэнк была защищена горами, она не была надежным убежищем от различного рода помех земного происхождения.

Именно поэтому в последующие годы группа всемирно признанных ученых разных национальностей (творчески иссякших, по мнению некоторых, от чрезмерных трудов) предложила возобновить научно-исследовательские работы, вооружившись более мощным оборудованием, и установить обсерваторию на обратной стороне Луны, которая станет надежным щитом для волн, идущих с нашей планеты. Они аргументировали предложение необходимостью поиска других обитаемых миров, установления контактов с разумными существами, возможно, более высокоразвитых, чем наша, цивилизаций, а также привлекательностью международного научного сотрудничества, — это были достаточно убедительные доводы, для того, чтобы правительства разных стран решились предоставить значительные кредиты на проект OZMA-2. Так, благодаря огромным инвестициям, проект и был запущен, отчего стал предметом зависти многих ученых мужей, которые в него не верили.

Главный инструмент обсерватории «Космос» — гигантский радиотелескоп размером около километра в диаметре, полусферическое устройство которого обусловлено рельефом поверхности Луны[11], он призван день и ночь прочесывать просторы Вселенной. Кроме этого прибора, в распоряжении ученых было еще и дополнительное, более совершенное оборудование: селекторные аудиовизуальные регистрирующие устройства, электроника, выполняющая наисложнейшие расчеты, оперирующая числами различных величин. Самым главным достоянием исследовательской оснастки была, конечно же, ядерная станция, обладающая мощным энергетическим потенциалом. Две дюжины ученых отправились в добровольное заключение на станцию «Космос», прихватив себе) в помощь многочисленный экипаж суперквалифицированных техников. Не было установлено никакого ограничения продолжительности научно-исследовательских космических работ, потому что все были настроены весьма решительно и полны энтузиазма трудиться до тех пор, пока не удастся получить хоть какой-нибудь результат. Не вызывало никаких сомнений и то, что отправленный из космических далей сигнал будет вскорости перехвачен и довольно быстро расшифрован.

Но, к несчастью, никаких посланий оттуда «Космосу» поймать не удавалось. Перед лицом небесного безмолвия первоначальное воодушевление многих улеглось, уступив место скуке, потом —

чему-то похожему на невыносимую меланхолию.

В конце года половина научных сотрудников отказалась от дальнейшего участия в экспедиции и возвратилась на Землю, чтобы вернуться к занятиям не столь неблагодарным. А два года спустя здесь осталось только три человека из тех, что поначалу рьяно ухватились за реализацию проекта OZMA-2, да несколько необходимых для обслуживания станции техников, которые, впрочем, менялись каждые три месяца.

И в самом деле, непременное ежедневное ожидание возможных космических феноменов, которое составляет основу работы в обсерватории, с неизбежностью оборачивается обезличивающей человека депрессией. Априори все знали, что многолетнее безмолвие Вселенной находится в полном соответствии с теорией вероятностей — в отношении частоты возможных появлений в космосе сигналов внеземного разума; но научные теоретические обоснования уже никого не трогали: напротив, они лишь вновь и вновь убеждали в том, что вся жизнь — мгновение в масштабе космической бесконечности, и она стремительно проходит, не оставляя надежд на искомый результат, и так ли уж это важно: опровергнет он или подтвердит первоначальную зажигательную гипотезу о существовании этих самых внеземных цивилизаций. Вот и Луна, которая прежде представлялась многим местом для приятного времяпрепровождения, оказалась необитаемой пустыней, а ее обратная сторона — еще более бесперспективна для человеческой жизни, так как оттуда не видна успокаивающая взор человека родная планета и никакая звезда не восходит над ней, чтобы сменять нескончаемые ночи на дни…

Среди тех троих, что остались из всего многочисленного экипажа станции, двое были пионерами проекта: Додж — один из выдающихся астрономов своего времени и Ирквин — математик, аналитические работы которого имели решающее значение в продвижении космической науки. Что касается психолога Мэлтона, — на сегодняшний день никто не превзошел его в познании человеческой души. А глубокое знание тонких душевных струн человека очень важно, говорил ему Додж, чтобы работать с экипажем, когда хочешь найти контакт с людьми.

Только высокий научный и духовный потенциал давал им силы дольше, чем другим, сопротивляться монотонности жизни в лунной обсерватории. В течение первых нескольких лет дежурства перед молчаливо прослушивающими космическое пространство устройствами и застывшими неподвижно регистраторами связи они проводили время в разговорах и сложнейших расчетах, касающихся вероятности существования

внеземных цивилизаций. Всесторонне обсуждая одну за другой все известные гипотезы и привнося в них собственные идеи, чтобы найти новую логически выверенную концепцию для исследований, они пускались в жаркие споры о способе, который следовало бы избрать для отправки послания, чтобы заявить о себе далеким существам, которые — никто в этом не сомневался — принадлежали более развитой, чем наша, цивилизации. Прилагая сверхчеловеческое напряжение мысли, они демонстрировали незаурядные воображение и изобретательность, свойственные лишь неординарным личностям. В особенности Ирквин — его мысль была запредельна: он представлял себя внеземным существом.

Так пронеслись первые годы их жизни на станции: в достаточно высоком интеллектуальном напряжении, которое не позволяло им расслабляться, а тем более поддаваться хандре и унынию. С течением времени, однако, безнадежное ожидание начало испытывать и их нервы. В результате чего и наступила некая прогрессирующая духовная деградация, выразившаяся в этих их досужих, довольно странных повседневных увлечениях.

К научным или философским темам обращались все реже и реже, — к тем, что прежде постоянно занимали умы, — теперь они испытывали к ним что-то вроде отвращения. Былые воодушевление и исследовательский пыл уступили место скорбному, рутинному исполнению обязанностей. Вначале самый фанатически настроенный из всех на работу, Ирквин стал теперь наиболее подавленным и с отчаянием отдавал себе в этом отчет, потому зачастую изображал бурную деятельность, чтобы таким образом вдохновить остальных. Додж во время разговора иногда вдруг не договаривал до конца фразу, будто ища смысл в том, что хотел сказать. Мэлтон чувствовал себя в некоторой степени ответственным за моральный настрой экипажа, поэтому нашел способ — резкими критическими замечаниями, порой недоброжелательными — осаживать любителей мрачно теоретизировать, тем самым уводил обитателей станции от непотребных разговоров, расхолаживающих трудовой коллектив. Правда, не всегда ему это удавалось. Мало-помалу высокие отвлеченные рассуждения о разуме уступили место шахматам, бриджу, потом покеру и вот настал черед других игр, которые требовали совсем незначительных интеллектуальных усилий. Сеансы спиритизма[12], к которым они пристрастились с некоторых пор, стали единственным наивным развлечением, всецело поглощающим нескончаемое время. Как-то раз в один из самых мрачных, чем обычно, дней во время очередного сеанса Ирквин неожиданно принялся убеждать всех, что ответы

геридона, возможно, предопределены — в связи с соответствующей поверхностью Луны и слабой силой тяготения. Никто из троих так не считал, но все согласились с этим высказыванием, отдавая должное математику, так как оно вносило причудливый нюанс в их нелепое занятие.

Вскоре и эти незатейливые игры оказались бессильными победить изнуряющую меланхолию, которая была небезопасна для людей, волею судеб заброшенных на неосвещенную сторону Луны, увлеченных восторженной, но безрассудной и отчаянно недостижимой целью.

2

— Это искусственный сигнал! — с трудом переводя дыхание, снова выпалила стремительно ворвавшаяся в отсек Ольга. — Он явно не космического происхождения!

Ольга — молодая ассистентка-астрофизик. Несколько месяцев назад, окончив учебное заведение, она попросилась стажироваться в обсерватории «Космос». Лунные отшельники оценили этот ее шаг, когда она появилась на станции, потому что в штате недоставало единицы по обслуживанию сверхчутких приборов, кроме того, это был четвертый — недостающий — игрок для бриджа.

И вот что странно: известие, которое она принесла, должно было вызвать бурю эмоций, однако присутствующие восприняли его с явным спокойствием. Разве что судорожно дрогнула рука Ирквина, чтобы оторваться от стола и схватить стакан с вином.

Додж неожиданно громко и членораздельно спросил:

— Откуда отправлен сигнал?

— Со звезды из Скопления М-13, из Геркулесовых координат…

— Скопление М-13!!! Что я об этом думаю? — вздохнув, проговорил Ирквин. — А то, что эта девушка — обезумела, или она пьяна.

— Сорок тысяч световых лет?! — воскликнул Додж. — Ирквин прав. Это абсолютно невозможно, Ольга.

— Но это так, — упрямо сказала Ольга. — Я проверила. Говорю вам, что я в этом уверена.

— Покажи запись датчиков.

Девушка протянула бумажный свиток.

Ирквин вырвал его у нее из рук, удалился в угол комнаты и принялся внимательно рассматривать.

— Почему это вы так уверены? — спросил Додж.

— Для проверки я перестраивала контрольную антенну. Нет никаких сомнений. Стоило ее сдвинуть, как сигнал исчезал. Он появлялся сразу, как только я наводила антенну на эту звезду. Она находится довольно далеко от центра М-13.

Обсерватория имела в своем распоряжении две антенны, которые были всегда одинаково настроены, одна из них служила именно для такой цели — проверки, чтобы прослушивание космоса шло непрерывно. Это была необходимая предосторожность. Со времени запуска проекта OZMA-1 в первые же минуты в обсерватории Green Bank был перехвачен один весьма отчетливый сигнал, когда радиотелескоп был направлен

на звезду Ипсилон Эридана. Увы! Сигнал прослушивался так же чисто и тогда, когда прибор перевели на некоторые другие небесные точки. Он был просто-напросто земного происхождения — это было подтверждено дальнейшими испытаниями. Здесь подобное наложение помех исключено наличием самой Луны, которая служила своего рода защитным экраном от них, но не от тех, что вызваны межпланетными природными механизмами и космическими явлениями.

Итак, Ольгин проверочный тест имел большое значение. Дыхание Доджа слегка участилось. В какой-то момент огонь блеснул в его глазах. Вскоре, однако, холодная рассудочность ученого взяла верх, он сказал:

— Сорок тысяч световых лет?! — Додж отрицательно покачал головой. — Невозможно, Ольга. Чтобы передать сигнал, который мы смогли получить с такой отчетливостью с такого расстояния, им понадобилось использовать для этого немыслимое количество энергии, превосходящее наши расходы на обеспечение производственных и социальных нужд всей Земли в течение многих лет!

Спокойный все это время Мэлтон неожиданно запальчиво возразил:

— А что если их цивилизация настолько развита, что она располагает баснословными энергетическими ресурсами? Или, может быть, они придают такое значение некоему сообщению, что имеют все основания использовать энергию подобной мощности?

— Не увлекайтесь! — сказал Додж. — Я уверяю вас, что речь идет о природном явлении. Ведь уже не впервые мы ловим волны, вызванные пульсацией звезд.

— Это искусственный сигнал. Он передан разумными существами, — стояла на своем Ольга.

— Додж!

Астроном вздрогнул. Голос Ирквина, все еще склоненного над бумажным свитком, выдавал его необычную взволнованность. Никогда, даже во время самых оживленных дискуссий, Додж не слышал у него подобной интонации.

— Додж! — повторил Ирквин. — Ольга не сошла с ума!

— Что?

— Она права, Додж. Послание отправлено мыслящими существами.

— Я умею считать до двух тысяч пятисот, — тихо проговорила девушка.

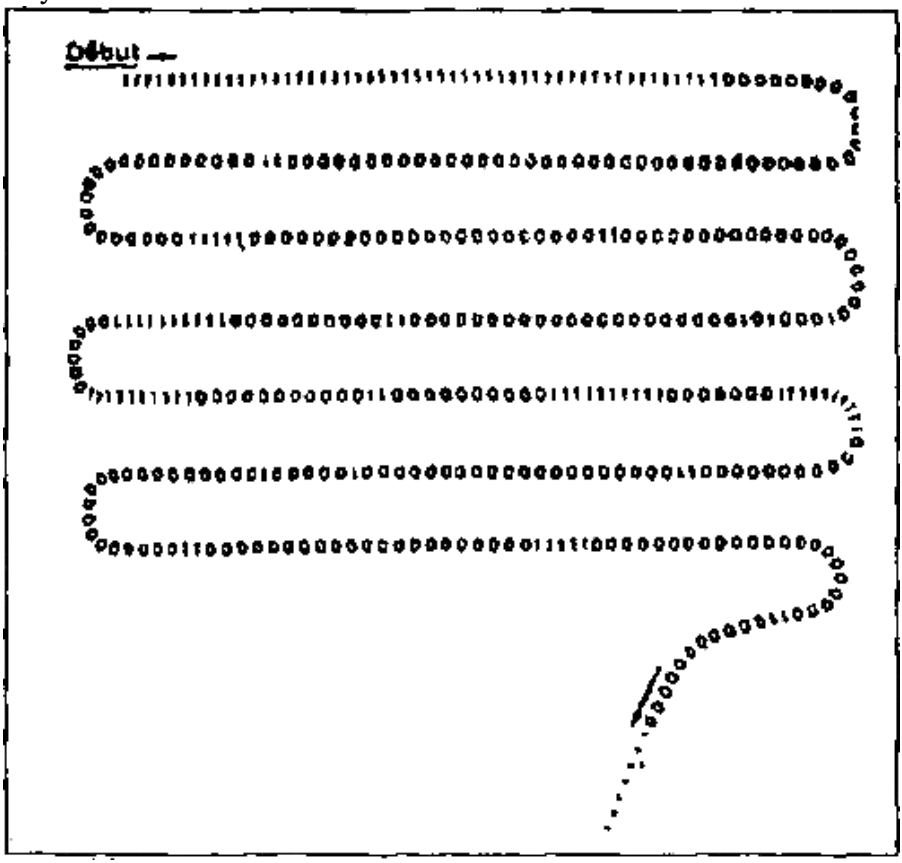
Додж, охваченный нервной дрожью, воскликнул:

— Как вы сказали? Две тысячи…

— Посмотрите, Додж. Считайте, как это делает она, как

только что это сделал я.

Для большего удобства он положил свиток с записью полученного сигнала на пол. Она начиналась так:



Начало записи № 1

Додж лег животом на пол и принялся, тыча пальцем, считать последовательность знаков датчика от 0 до 1. Когда через несколько минут он встал, его лицо преобразилось.

— Вы правы… Дети мои, я считаю, что сегодня великий день.

— Мне хотелось бы понять… — начал было Мэлтон.

— Послушайте, старина… — вскрикнул, прервав его Ирквин. — Ольга! Быстро дайте мне разграфленной бумаги и чем писать!

— Вот, возьмите.

Несмотря на то, что торопилась сообщить новость, она успела подумать и о том, чтобы принести необходимые рабочие принадлежности. Ирквин поблагодарил ее оценивающим взглядом, потом, небрежно оттолкнув других, суетливо пробрался к письменному столу и принялся изучать закономерности подачи сигнала, тоже водя пальцем по бумаге.

— Считайте, Ольга. У меня дрожит рука… или лучше

диктуйте мне — так скорее дело пойдет.

— Давайте, быстрее, — затаив дыхание, Додж следил за их действиями, — быстрее!

Ольга взяла свиток и принялась диктовать:

— Пятьдесят раз — единица… Пересчитываю… Да, пятьдесят единиц. Потом одна единица, потом… сорок восемь раз — ноль и единица… Все верно. Потом одна единица и сорок восемь нулей. Я бы сказала…

— Никаких комментариев! — взмолился Додж. — Быстро дальше!

— Дайте нам поработать спокойно, — возмутился Ирквин.

Додж нехотя отошел и, чтобы утолить свое нетерпение, решился дать несколько психологических пояснений Мэлтону:

— Две тысячи пятьсот, Мэлтон, — это абсолютный квадрат!

— По правде говоря, я об этом не подумал. Да, это так…

— Ну да, это значит, пятьдесят помноженные на пятьдесят, черт побери! Как вы думаете, природное явление, пульсация звезды, например, может показывать такое число последовательных знаков и дать такой своеобразный результат? Случайность из ряда вон выходящая, почти невероятная, Мэлтон. Надо делать выводы. Как вы считаете, каковы будут действия Ирквина? Итак, Ирквин?

— Старина, если вы будете постоянно мне мешать, — взорвался математик, для которого перерыв в подсчетах означал потерю нити последовательности зарегистрированных знаков, — быстро мы с этим не разберемся. Оставьте нас в покое, слышите?… Ольга, повторите!

— Еще сорок восемь нулей, — сказала Ольга, — потом единица.

— Хорошо-хорошо, — пробормотал Додж, — оставим их… Пятьдесят на пятьдесят! Мэлтон, это должно означать, что послание состоит из пятидесяти строк в пятьдесят знаков каждая. Когда-то давно мы прикидывали возможность такого рода прецедента… Но этот еще более прост, чем диаграмма Дрейка[13] … Ирквин идет по тому же пути.

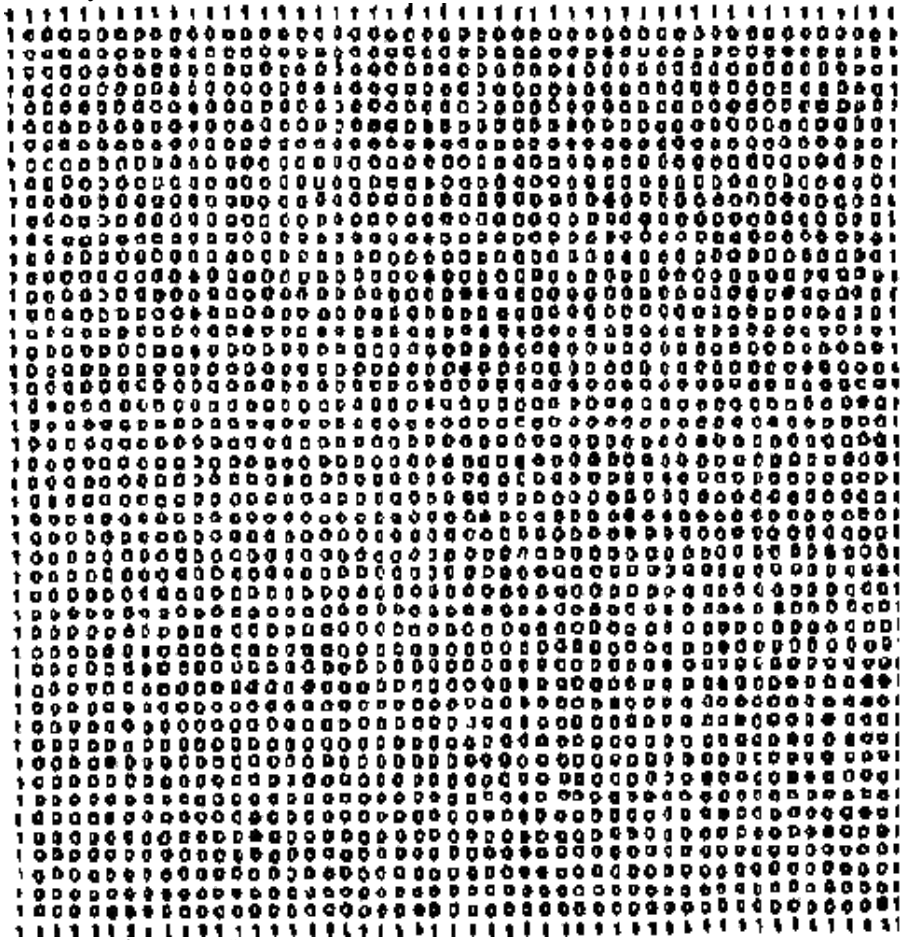
На разграфленном листе бумаги Ирквин изобразил сначала строку из пятидесяти первых знаков свитка. Пятьдесят первый знак он записал со следующей строки, — под предшествующей, — слева направо и затем все последующие пятьдесят. Потом перешел к третьей — и так далее. Его воодушевление передавалось время от времени приглушенным восторженным хмыканьем.

— Кажется, я поняла, — сказала Ольга, — пятидесятая и последняя строки — непрерывное продолжение пятидесяти

единиц… Вот как…

— Черт возьми! — ликовал Ирквин. — Я должен был догадаться об этом с первого взгляда. Посмотри, Додж.

Он завершил работу и положил перед глазами коллег таблицу.



Расшифровка 1-й записи. (Квадрат-рамка) Послание № 0

— Идеальная симметрия, — разочарованно прокомментировал расшифровку записи Мэлтон. — Но я не вижу, в чем мы продвинулись.

Он замолчал, чтобы не мешать размышлениям двух ученых.

Всего две секунды понадобились Доджу, чтобы прийти к такому же выводу, что и математик.

— Ольга, — сказал вдруг он, — надо возобновить прослушивание. Из этого что-то следует.

— Должно последовать, — поддержал Ирквин.

— Все записывающие устройства включены, — ответила девушка, — и микрофоны этой комнаты — тоже. Мы будем

предупреждены, когда передача сигнала снова начнется.

— Если она вообще начнется…

— Вы в этом сомневаетесь, Мэлтон?! — вскричал Ирквин. — Разве вы не видите, что этот квадрат — рамка, в которой будут писать будущее послание. Передача такого рода осуществляется числами из двух элементов, то есть чередованием 0 и 1 — ноля и единицы, чтобы лучше обозначить начало и конец. Ну же, сосредоточьтесь! — раздраженно продолжал он. — Ноль в регистрации волн — это просто отсутствие сигнала, молчание… Ладно, поймете это позже. А пока поверьте мне на слово. Рамка — очень необходима.

— Очевидно, рамку повторят и в последующих передачах, чтобы обозначить границы.

— И в ней нули будут составлять фон, на котором будут вписаны знаки послания, — прошептала Ольга голосом, дрожащим от волнения.

Мэлтон, усвоив выводы своих товарищей, молчал, размышляя.

— Это послание должно быть исключительной важности, Додж, — сказал он наконец, — если, как вы уже предполагали, они используют на радиопередачи огромные средства.

— Я не предполагаю. Я в этом уверен. Гигантские мощности!

— Клянусь, я расшифрую это послание, — заверил всех Ирквин.

Сказав это, он встал, взял бутылку со спиртным, которого осталось не больше половины, и спрятал ее в шкаф.

3

В ожидании продолжения первого послания, которое они окрестили № 0, члены экипажа обсерватории «Космос» жили в тревожном волнении: воодушевление и мучительное нетерпение сменяли друг друга.

Ирквин проводил время, шагая из угла в угол лунного сооружения, иногда останавливаясь у прослушивающего устройства, перед тем как вернуться в комнату отдыха, упасть в кресло и оставаться в нем какое-то время, обхватив голову руками. Мэлтон вовсе не знал покоя. Додж, вначале взбудораженный, немного пришел в себя, закрывшись в своей комнате на час, тогда и вспомнил о своих обязанностях директора и решился, наконец, сообщить ошеломляющую новость на Землю некоторым светилам от науки — что и должен был сделать тотчас при перехвате первого сигнала из космоса.

Он прошел в свой кабинет. Общаться с Землей можно было по радио, через релейную телефонную станцию, установленную на освещенной стороне Луны. Додж сразу попал на одного из своих коллег, который занимал официальный пост и был его другом.

— Как вы там, все хорошо?

— Старина, не могу поверить, — заговорил астроном не очень уверенным голосом. Однако, кажется, чем больше проходило времени после приема сигнала, тем больше его одолевали сомнения. — Послушай, держи это пока в секрете. Не стоит пока приводить в смятение прессу… Кажется, мы получили сигнал.

В ответ он услышал восторженные слова приятеля, а потом поток его вопросов и почувствовал раздражение.

— Да, я передам его вам… Мы его очень легко расшифровали… Пока ничего, кроме пустой рамки. Я говорю — это рамка. Черт побери, объясню вам позже. Надо, чтобы вы прежде всего ответили мне на мои вопросы. Очень важно. Обещайте, я вас заклинаю, сказать мне правду. Вы уверены, что вы не разыгрываете удивление? Я хочу знать: поклянитесь, что вы со своей стороны, с Земли, не посылаете в направлении нашей станции в экспериментальном порядке какие-либо радиоволны, чтобы придать немного вкуса тому жалкому существованию, которое мы здесь влачим.

Подозрения Доджа соотносились с методой, предложенной некогда одним видным ученым[14], разработанной к внедряемому проекту OZMA. Его проницательный ум предвидел феномен возникновения тоски и депрессии, которые непременно должны

были овладевать несчастными исследователями космических станций, и поэтому он посчитал необходимым время от времени запускать в пространство ложные сигналы, чтобы пробуждать у обитателей небесных обсерваторий интерес к работе и не дать им совсем отчаяться и погибнуть от безнадежной и бесплодной деятельности.

Додж немного приободрился, услышав, как его телефонный собеседник задохнулся от негодования.

— Не сердитесь! Вы клянетесь всем, что для вас является самым дорогим?.. Хорошо… Секунду. В чем дело, Ольга?

Девушка стояла в дверях его кабинета и призывно жестикулировала:

— Возобновилась передача сигналов! — выпалила она.

— Я перезвоню позже, — прокричал Додж в трубку и на этом прервал связь с Землей.

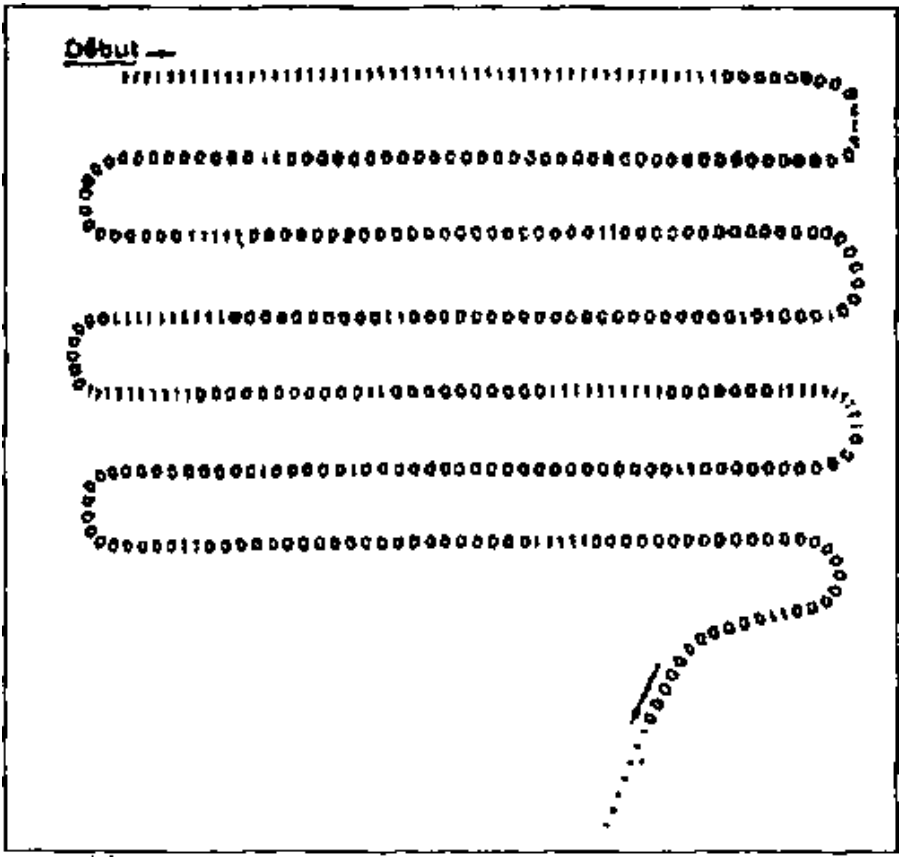
Не убежденный клятвенными заверениями друга, Додж тем не менее устремился в комнату отдыха, где радиомикрофоны столь же отчетливо, как и в прослушке, воспроизводили звуки принимаемых сигналов. Ирквин лихорадочно пытался успеть записать их, полагаясь на слух. Он легко с этим справился, отразив на бумаге первые пятьдесят единиц. Судя по всему, повторялась, как и предполагалось, рамка-фон для послания. Потом он все же сбился и перестал писать, потому что не сразу понял, что перерыв в передаче был временной паузой, означающей 0 — ноль. Оставалось ждать результатов безупречной автоматической регистрации сигнала рабочими устройствами.

— Я принесу вам запись передачи, как только она прекратится, — сказала Ольга.

Несколько минут трое мужчин сидели не произнося ни слова, и звенящую тишину нарушал лишь звук, идущий из приемника с неравными интервалами.

Ирквин смотрел на часы. Он засек время начала и ждал конец передачи. Незадолго до того, как оно истекло, он поднял руку, будто дал старт соревнованиям, потом резко опустил ее в тот момент, когда сигналы прекратились. Додж и Мэлтон прокричали ура.

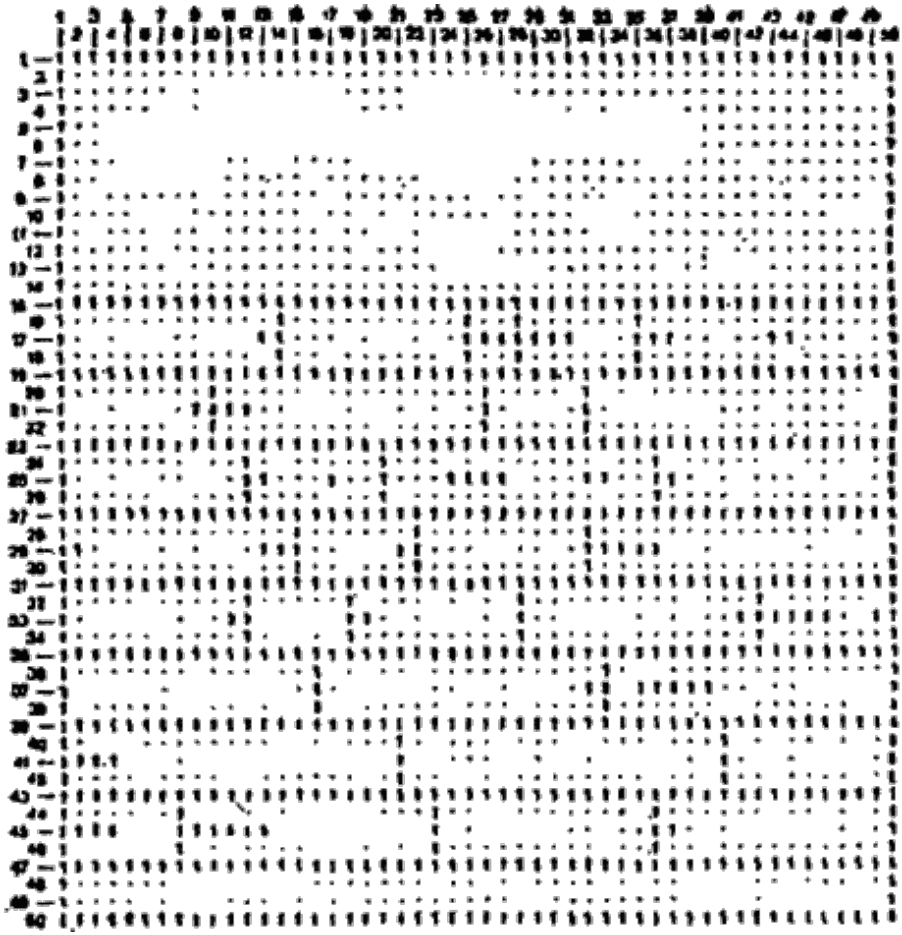
Несколько минут спустя Ольга прибежала с драгоценным свитком. В нем было две тысячи пятьсот знаков. Вот как он выглядел:



Начало записи послания № 1.

Принятая лично Ирквиным и Ольгой регистрация знаков в пятьдесят линий была намного длиннее, чем послание № 0. На этот раз внутри рамки, несомненно, что-то было. И это что-то было уже преобразовано Ирквиным для более отчетливого восприятия: нули он трансформировал в простые точки, на их фоне ясно просматривалась замысловатая картина из единиц.

Додж, наморщив лоб, попытался как-то истолковать представшую картину.



Послание № 1 (Информация)

— Две геометрические фигуры в верхней части листа. Та, что ниже — похоже, треугольник, но в остальном, самом главном, я ничего не вижу.

— Вы не видите! Вы правильно сказали, что вы не видите! — вскричал Ирквин.

Все вздрогнули: столь необычно звучал его голос. Лицо стало мертвенно-бледным, глаза странно блестели. В этот момент он походил на сумасшедшего.

— Вы, Додж, один из ведущих астрономов! И вы не видите?! — он вдруг зашелся каким-то истерическим смехом, таким, что из глаз потекли слезы.

Мэлтон властно схватил его за руку:

— Ирквин я не раз ставил вам на вид, что вы злоупотребляете спиртным. И вам следует…

Мэлтон замолчал, увидев, что Додж тоже переменился в лице: оно стало пунцовым, а голос дрожал, когда тот заговорил, странно задыхаясь, отчего вынужден был расстегнуть ворот

рубашки.

— Господи! Ирквин, вы правы! Я осел!

— Галактика! — закричала Ольга, ткнув пальцем на изображение вверху листа.

— Галактика! — Мэлтон и сам уже узнал знакомые очертания этого островка Вселенной, состоящего из миллиардов звезд, включая, в частности, наше Солнце, как это изображалось на всех атласах небесных сфер.

Додж замерил величину изображения и быстро произвел расчеты.

— Все правильно, в целом пропорции соблюдены настолько, насколько это позволяют размеры схемы… В чем дело, Ольга?

— Посмотрите.

Она обратила внимание ученых на одну единицу, находящуюся внутри контуров Галактики, нарисованных такими же единицами. Эта единица была на пересечении 4-й линии с 26-й вертикалью в соответствии с цифровой графикой заготовленных и утвержденных Ирквином бланков разграфленных листов.

— Местонахождение скопления М-13 Геркулеса. Это точка наведения нашего радиотелескопа.

— Совершенно верно, — покраснел Додж. — Те же координаты. И расстояние соответствует масштабу. Сорок тысяч световых лет! Та самая галактика! Та самая!

— Та самая! Та самая, откуда посылают сигнал…

— Откуда его отправили сорок тысяч лет назад, — уточнил Ирквин.

Больше никто ничего не добавил, комментарии были излишни. Все замолчали, оглушенные, замерли, сидели будто окаменелости, потрясенные внезапным ошеломляющим результатом, величественным следствием их терпеливого многолетнего ожидания. И это случилось тогда, когда самые оптимистически настроенные ученые уже стали сомневаться в успехе этой космической экспедиции и вообще в правомерности выдвинутой ими гипотезы, — и надо же! — космический разум внезапно заявил о себе с отчетливостью и определенностью, способной убедить самых мрачных скептиков.

Первое, что избрали внеземные существа для контакта и представления, — произвести незатейливое и вместе с тем грандиозное впечатление, для того, чтобы заявить о существовании высшего разума. В ходе лабораторных испытаний и сами пионеры проекта OZMA-1 задумывались, какого рода информацию следует запустить в космос: то ли простые арифметические вычисления, формулы, то ли схемы, иллюстрирующие решение геометрических теорем — в качестве

общеизвестных истин. Насколько же более оригинальным и верным оказался подход к этой проблеме существ, которые населяли Скопление М-13! Одним лишь незамысловатым изображением они недвусмысленно сообщили о своих параметрах и нашей галактике. Они старались привлечь таким образом внимание всех мыслящих существ в миллионах звездных систем, допуская, что где-то некий разум, как и они, тоже наблюдает за небом. И вот в своем послании простой маленькой единицей, малым бинарным знаком, битом, как называют его специалисты, они указали свое место во Вселенной. Они давали всем свой адрес! У Ирквина перед этой восхитительной лаконичностью был такой же восторг, как у эстета, открывшего шедевр.

Разумеется, сознание членов экипажа было прямо-таки ослеплено случившимся. То, что происходило далее в обсерватории «Космос», вряд ли удивит тех, кто знает, до какой степени люди науки, даже самые серьезные, иной раз неожиданно переходят в состояние экзальтации. И вот внезапно, в одно мгновение комната отдыха стала похожа на пристанище для умалишенных. После стольких лет уныния и беспрестанного ожидания всевозможные сомнения рассеялись, и обуявшая людей безумная радость будто сорвалась с цепи и вскружила головы, завертела с неистовостью тайфуна. Додж, прижав Ольгу к груди, пустился в какой-то дикий пляс, в то время как Ирквин точно так же в безумном танце вращался с геридоном, а Мэлтон, глубокомысленный психолог, жадно пил шампанское прямо из горла и при этом яростно отбивал такт рукой.

Такая разрядка, а продолжалась она около четверти часа, для измотанных, истощенных нервов ученых была крайне необходима. Потом, когда свойственное им благоразумие возобладало, они вновь склонились над посланием, которое повергло их в глубокие раздумья.

— Под изображением галактики — простой треугольник. Быть может, как когда-то и мы, они искали способ продемонстрировать свои познания в геометрии?

Теперь, после того, как улегся восторг от открытия галактики, Додж выглядел совершенно растерянным. И все же ему казалось, что не пристало высшим существам использовать такой, довольно банальный способ передачи информации о развитии своей цивилизации.

— Ни одна из зафиксированных линий знаков не дает повода истолковывать это подобным образом. Потом увидим. Что касается дальнейшего… — Он долго стоял в раздумье, затем начал своего рода монолог: — Ниже 15-й линии мы наблюдаем

непрерывную последовательность единиц. Ясно, что они не в счет — это всего лишь сторона рамки: таким образом изображение галактики отделено от послед дующей графической части, составленной бинарным алфавитом, несомненно, составляющей сущности послания. Но есть и другие непрерывные линии из единиц, — заметил Додж. — Их периодичность 5 единиц по вертикали, смотрите: 19, 23, 27 и т. д.

— Верно.

Ирквин продолжал размышлять, нахмурив брови, потом улыбка озарила его лицо.

— А вот и еще очевидные вертикальные закономерности: видите, как они следуют… Впрочем, пока это не совсем понятно, необходима дешифровка и, наверное, длительная. Но я вижу их принцип подачи. Неплохо задумано. Поставьте себя на их место, Додж. Предположим, что вы хотите таким способом запустить на радиоволнах отнюдь не схемы, но ряд слов бинарным языком.

— Бинарным! — недоуменно повторил Мэлтон. — Как это? Хотелось бы понять.

— Попробую объяснить… Допустим, каждое слово — это ряд цифр, состоящих из последовательности нулей и единиц (0 и 1). На нашей диаграмме нули заменены точками. Рассмотрим слово ОНО. Если вы пишете его карандашом, вы выводите каждую цифру. Ничего сложного, правда? Но посредством радиоволн можно обозначить только единицы (1), то есть сигнал — это единица, тогда как нули (0) выражаются отсутствием сигнала, молчанием. Такой способ связи требует обозначения начала и конца слова, в противном случае слово 0110 может быть перепутано со словом, записанным как 11. В начале горизонтальной линии, в месте ее пересечения с рамкой, сделать это нетрудно: тут всякая двусмысленность исключается вертикальной границей рамки. Теперь вы понимаете, сколь необходима рамка, Мэлтон? Можно было бы обойтись без нее для передачи рисунков, где нули обозначали бы лишь пробелы, но не для слов… Для слов же понадобилось, так сказать, обрамление, чтобы разделить их и по вертикалям, которые, как вы заметили, выражены в виде прогонов из пяти рядов единиц. Посмотрите: например, первое слово находится в пределах от границы рамки до 14-й вертикали — между 15 и 19 горизонтальными линиями или другое: тоже от границы рамки до 12-й вертикали между 23 и 27-й линиями. Таким образом, чтобы выделить границы каждого слова по вертикали, потребовалось пять рядов-линий единиц. То есть надо было…

— То есть надо было разделить смысловые ряды, — продолжила его мысль Ольга, — таким образом, от пятой к

следующей пятой горизонтальной линии каждое слово оказывалось заключенным в прямоугольник, сформированный из единиц.

— Браво! — похвалил ее математик. — В каждом прямоугольнике, состоящем из пяти горизонтальных линий, есть одна линия, которая, как вы сказали, представляет собой смысловой ряд и находится посередине. Заметьте, что линия сверху и линия снизу состоят только из нулей, потому нет надобности принимать их в расчет, но только те, которые заключены в прямоугольники из единиц. Таким образом, послание начинается с 17-й горизонтальной линии- строчки. Первое слово довольно длинное: 010011001001, второе — 0001010010, третье очень короткое — только 11, четвертое — 111010 и т. д. Затем переходим к 21-й горизонтальной линии-строчке. Дошло?

После обсуждения все согласились с тем, что единственным приемлемым был вариант трактовки, предложенный Ирквиным.

— Что ж, хорошо, — сказал Мэлтон, — я согласен, это действительно послание, и вы прекрасно разделили его на слова, теперь осталось только расшифровать.

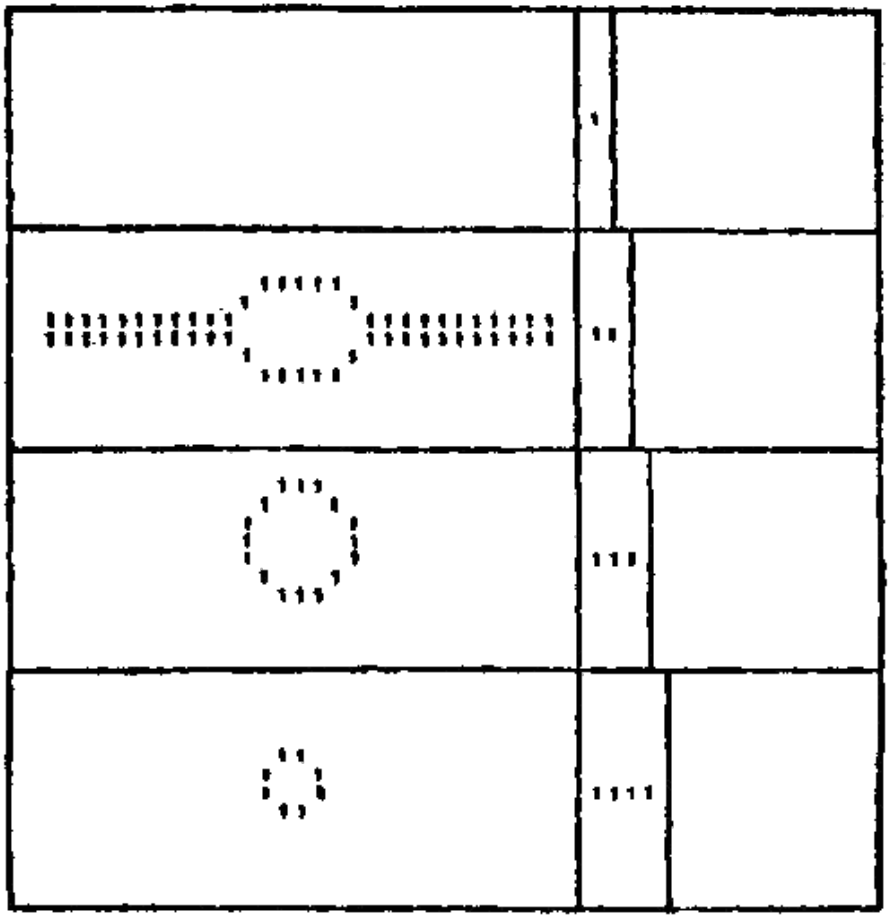
— Конечно, — буркнул Ирквин озабоченно. — Если есть желание, можете попробовать. Всего двадцать слов — и ни малейшей зацепки для понимания! Ох, ведь уже не раз предпринимались попытки создать двоичный — бинарный язык в соответствии с правилами логики. Почти все эксперты допускают мысль о том, что не существует кодировки, придуманной человеческим разумом, которую не смог бы дешифровать человеческий разум. Только…

— Только эту придумал не человеческий разум. Вот так-то… — медленно проговорил Додж. — И было это сделано сорок тысяч лет назад жителями звездного скопления М-13.

В течение двух последующих часов Ирквин сидел, зачарованно уставившись на ряды нулей и единиц, всецело поглощенный разгадкой их тайны. Совсем упав духом в безрезультатных поисках решения задачи, он уныло встал, как вдруг услышал звук возобновившейся передачи.

— Я была уверена, — восторженно сказала Ольга, — они захотят объясниться.

— Уф! — устало выдохнул Ирквин, вытирая лоб. — Я тоже надеялся на это. Они не могли оставить нас в полном недоумении после столь ослепительной интеллектуальной атаки.



Послание № 2 (1-й урок языка)

Однако, очередное послание, вписанное в рамки, своего рода экран 50x50 (теперь передача его изображения стала обычной, рутинной преамбулой), после полного и четкого прояснения деталей всех разделительных линий и исключения не несущих смысла нолей, выглядело следующим образом:

На левой стороне листа появились три рисунка, очевидно, дополняющие один другой; на первом снова была галактика, на втором, несомненно, круг, на третьем еще один круг, поменьше. На правой части листа стояли группы бинарных знаков.

Первый комментарий Ирквин высказал громким голосом в присущей ему профессорской манере:

— Так я и думал… Это первый урок… скорее всего логического языка… Начало словаря. Значит, галактика представлена двоичной группой 11, но…

— Не кажется ли вам, что пора бы уже каким-то образом объяснить мне, что такое все эти ваши двоичный код и

логический язык, — взмолился Мэлтон.

Сжалившись над бедным, ничего не понимающим Мэлтоном, Додж принялся объяснять ему, начав издалека:

— Мы часто задумывались над созданием такого рода языка. Еще на Земле в последние годы в этом направлении было предпринято немало попыток. За основу был принят графический принцип — разлинованный лист и ответ да или нет (бинарным способом: 1 или 0) на вопросы от более общих к более частным. Например. Прежде всего ставится условие (а оно обязательно), что все сущее будет записываться двоичными знаками, начиная с основополагающей единицы (1)[15]. Потом, так сказать, для конкретики ставится вопрос: кто или что является предметом исследования. Живые существа? Если ответ утвердительный, записываем всех живых существ двумя одинаковыми цифрами — 11. Если отрицательный — двумя разными: 10. Далее уточняется: животный мир? — положительный ответ будет записан как блок цифр 111; отрицательный — 110, равно как и растительный мир. И так далее. Человек в подобной системе мог быть обозначен четырехзначным блоком — 1111. Другие вопросы и соответственно другие ответы

— повлекут за собой новые условные обозначения с учетом той иной конкретики. Это понятно?

— Почти.

— В данном случае, который мы рассматриваем, — продолжал Ирквин, — предложено, как вы видите, иное исходное условие. Выходит, что галактика — это группа цифр 11, а больший круг, что находится ниже ее — 111.

— Но выше группы 11, — прервал его Додж, — стоит 1 — одна единственная единица и напротив нее нет никакого изображения. Не означает ли это, что таким образом обозначено ничто?

— Не угадали, старина. Мне кажется, я начинаю понимать их метод. Давайте поразмышляем: у них наверняка астрономическое мышление, поэтому, сообразуясь с природой вещей, они вполне последовательно идут от общего к частному. Этот большой круг, Додж, — не что иное, как звезда, или я бы предположил еще, что это — звездная система, непосредственное логическое подразделение галактики. Ну а меньший круг ниже ее…

— Следуя за вашей мыслью, я, кажется, на сей раз не ошибусь, предсказав, что меньший круг — планета, которая, в свою очередь, является частью звездной системы.

— Ну да, это сразу бросается в глаза. Но тогда, Додж, если мы вернемся в самый верх листа, к одинокой единице, которая так заинтриговала вас, мы придем к выводу, что она не просто

ничто, совсем наоборот…

— Я поняла, — радостно воскликнула Ольга, — это Вселенная!

— Вот именно, черт возьми! Вселенная включает в себя галактику, которая в свою очередь состоит из скопления звездных систем, которые включают планеты. Это необъятное Все, сам Космос, как вы правильно поняли, они не могли изобразить ни каким иным способом, если бы не обратились к последовательной градации по нисходящей, и им это удалось благодаря тому, что перевели имя Вселенной в бинарный знак. Это совершенно очевидно.

— Это любопытно и с точки зрения психологической, — размышлял Мэлтон. — Они рассматривали сначала наиболее значительные величины, и наибольшей присвоили символ 1 — единицу.

— Ирквин, — прошептал вдруг Додж, — где первое послание? Мне кажется, что там… похоже…

— Успокойтесь, я знаю его наизусть, — сказал математик, вскинув голову. — Хотите, проверьте: группа 11, то есть понятие галактика, находится в первом прямоугольнике на 17-й горизонтали.

Одно слово послания было расшифровано. Все молчали, потрясенные констатацией этого факта.

— Чтобы понять другие слова, нужны новые документы и новые уроки языка.

— Значит, вы не сомневаетесь, что передача информации продолжится?

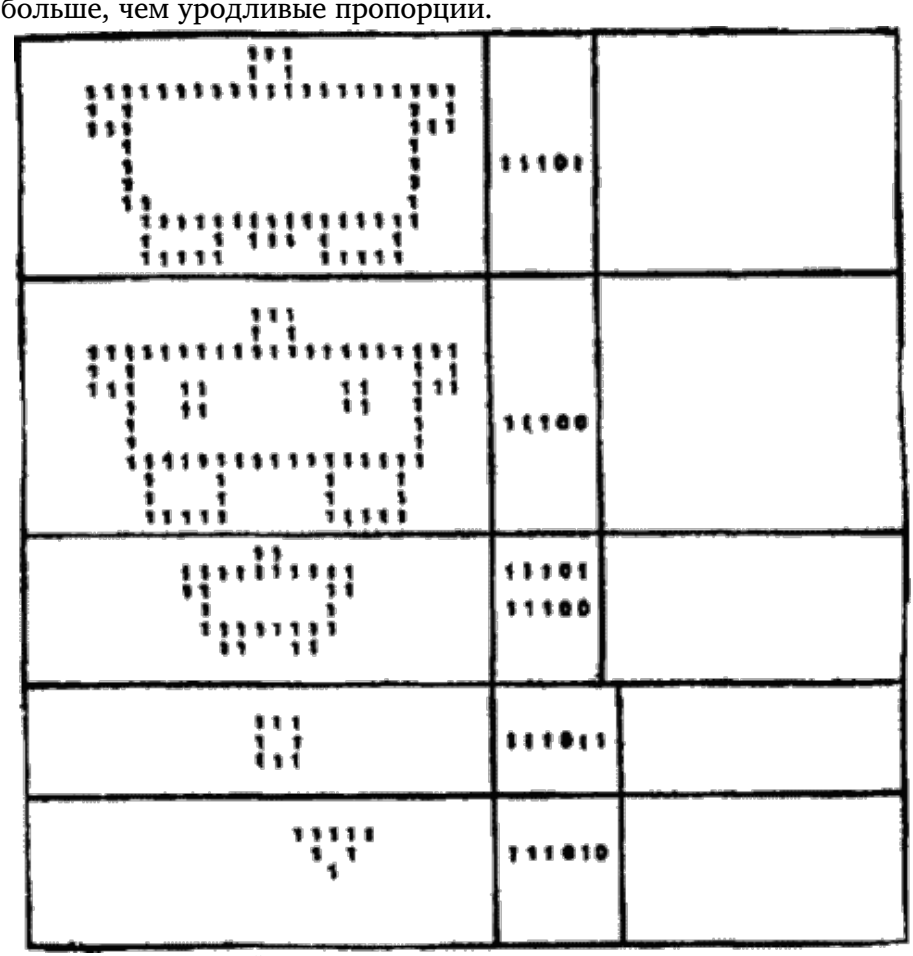
В ответ на этот вопрос раздался стрекот записывающих устройств. Таинственные существа, находящиеся на расстоянии сорок тысяч световых лет, методично продолжали посвящать их в свою тайну. В трепетном молчании слушал экипаж звук идущих к нему волн. А когда Ольга принесла зарегистрированную приборами запись, Ирквин с первого взгляда определил, что получено точное повторение первого послания.

— Все идет, как я и подозревал, — объявил он после сделанной на всякий случай сверки. — Смотрите, Додж, вы согласны, что это то послание, которое они изо всех сил стремятся до нас донести? Все другие передачи — лишь приложения, которые должны помочь нам понять их документ, которому они придают большое значение. Могу поспорить, что они будут повторять его еще несколько раз, чередуя с уроками.

Он оказался прав. Два часа спустя, которые, видимо, были традиционным временным интервалом между передачами, космическая обсерватория получила послание № 3,

последовавшее в качестве второго урока. Оно стало почти таким же потрясением, как и первое послание с изображением галактик. После регистрации Ирквин представил его глазам изумленных коллег.

Совсем не надо быть великим ученым, для того, чтобы идентифицировать первых три рисунка: то были силуэты, формой напоминающие человека, и никакие другие особые толкования здесь не требовались. Очевидно, речь шла о существах, населяющих планету, откуда отправлено послание: изображены были самец, самка и детеныш. Массивное сложение иноземных существ не удивило ученых. Додж тотчас напомнил, что живые существа планеты с большой силой тяготения почти обязательно должны иметь подобные формы. В самом деле, внешность их была намного более странной, чем та, которую можно было предугадать. Сходство, тел, членов инопланетян с человеческими органами поразило сотрудников обсерватории значительно больше, чем уродливые пропорции.



Послание № 3 (2-й урок языка)

После беглого осмотра характерных признаков, представших его взору, Ирквин прокомментировал:

— Человек — 11101… Да, и в их системе человек — составная часть звездной системы, его основа 111. Следующий ноль (0), без сомнения, означает изменения этого ряда. Теперь мы уже имеем дело не с инертной материей. Единица (1) после нуля (0) должна обозначать более значимое существо этого ряда. Получается, что человек 11101, а женщина 11100.

— Какая женщина?! — возмутилась Ольга.

— Женская особь и мужская особь, если вам так предпочтительней. Это, пожалуй, даже более точно. Только…

— Только что?

— Их логика идет вразрез с нашей. Мы классифицировали бы живые существа по наиболее общим признакам, выделили бы животный мир, потом различные виды животных в порядке эволюционного развития, чтобы в конце концов дойти до человека.

— Ив чем же у нас теперь сложности?

— Пока не знаю, но в дальнейшем предвижу — и большие, — сказал Ирквин, сокрушенно покачивая головой. — В послании есть слова необычной длины.

— Послушайте, Ирквин, — сказал Мэлтон, — давайте не будем придираться к их логике, когда они поставляют нам такую массу информации в несколько линий: планету, населенную разумными существами, которая, по большому счету, представляет собой некую аналогию с нашей. Кроме того: симметрия форм, разнополость, репродуктивность.

— Да я ни на что и не жалуюсь. Впрочем, заметьте: нет новых групп цифр, чтобы представить ребенка. Просто даны слова самец и самка. Экономия символов.

— И что же дальше? — спросил Додж нетерпеливо. — Квадрат, потом треугольник… Треугольник есть и в заголовке послания № 1. Что вы об этом думаете?

— С этим пока не ясно. И все же… — математик сосредоточился на несколько мгновений, и вдруг его лицо озарилось, — Ах вот оно что! Их методика, их смысловая градация должны направлять наши мысли… Группа 111011 обозначает квадрат, Додж; очевидно, это так, потому что квадрат составляет и одну из частей тела мужчины 11101, часть очень существенную, тем более что он — начало некоего ряда… Все ясно, Мэлтон, квадрат может быть только головой. Если вы в этом сомневаетесь, взгляните еще раз: квадрат в точности такой же, как головы на рисунке.

— Интересно, действительно ли у них квадратные головы, или это только схема для облегчения расшифровки?

— Эти детали выяснятся позже. Очень важен еще и этот треугольник на последнем рисунке, который тоже должен быть одной из важных частей тела, потому что в нем основой является группа 11101.

— В экипаже не хватает анатома! — воскликнул Додж с отчаянием,

— Треугольник — самая нижняя точка рисунка, — медленно, рассуждая, говорила Ольга. — И он смещен относительно центральной оси всего послания, тогда как голова расположена строго вдоль этой невидимой оси. Слегка сдвинута вправо, это для нас — вправо, зато со стороны фигур — влево…

Вопль Ирквина прервал ее рассуждения. И в это мгновение все одновременно вдруг поняли то же, что и он.

— Эта девочка гениальна! — сказал он, расцеловав Ольгу в обе щеки. — На этот раз я размышлял как осел.

— Сердце, это сердце! — прошептал Мэлтон.

— 111010 — сердце! — возликовал математик. — Рисунок сердца не только в заголовке первого документа, но такая же бинарная группа прослеживается дважды в послании — это четвертое слово на седьмой линии и первое на 45-й, последней, определяющей!

Два существительных, несомненно значимых, уже расшифрованы: галактика и сердце.

Новая волна несказанного воодушевления от первых успешных результатов подняла ученых на новую высоту, с которой виделись триумфальные перспективы. Постоянное нервное напряжение требовало выхода вовне, потому их вновь захлестнул небывалый прилив ребячьего восторга. Додж уже сделал неуловимое движение, намереваясь пуститься в пляс, а Мэлтон изумил тем, что внезапно запел во всю глотку непристойные куплеты. Но их буйное веселье неожиданно прервалось — Додж застыл с поднятой ногой, психолог замер с открытым ртом: вновь застучали регистрационные датчики, фиксирующие космические сигналы. Ирквин, следуя недавно обретенной привычке, принялся записывать их на слух. Ему понадобилось всего несколько минут, чтобы понять, что в эфире повторяется послание № 1. Он предсказал его, но не мог больше сдерживать свое нетерпение.

— Проклятье! — раздраженно выпалил он. — Сколько можно?! Это мы уже слышали!..

Он не закончил свою тираду, умолк, заметив, что все смотрят на него с укоризной. Они тоже уже догадались о повторе: ритм

этой космической преамбулы стал узнаваем. Все слушали его с каким-то благоговейным трепетом истовых верующих, страшащихся, что заветный звук может мгновенно рассыпаться, пропасть. Ирквин — тоже, несмотря на то, что обладал холодным математическим умом, почувствовал странный укол в сердце. Он вынужден был признать, что находил нечто патетическое, волнующее кровь в этих настойчивых повторах, передаваемых через равномерные промежутки времени. Это было оно, главное ПОСЛАНИЕ, содержащее, без всякого сомнения, высокий трансцендентный смысл, вероятно, столь важный, столь насущный для инопланетян, что его авторы не колеблясь употребили на осуществление эфирной информационной эмиссии уйму всякого рода материальных затрат и несметное количество энергетических ресурсов. Быть может, они открыли одну из самых великих тайн Вселенной? секрет жизни и смерти всех живых существ космоса, который они решили поведать посредством электромагнитных волн сорок тысяч лет назад?

4

Таким сенсационным оказалось для землян начало космического проект OZMA-2, который возвестил триумфальную победу интуиции и непреклонного упорства нескольких ученых мужей и который будоражил мир в течение двух лет.

Ирквин оказался прав, предвидя возрастающие трудности с постижением уроков двоичного языка и то, что передача сигналов не будет продолжаться до бесконечности. И в самом деле связь вдруг прервалась на несколько недель, потом на несколько месяцев, экипаж приписывал это неизбежным астрономическим феноменам, помехам от движения планет солнечной системы и тому подобному.

Сложности, возникшие с составлением бинарного словаря, поставили Ирквина в тупик, когда он пытался выстроить слова на уровне фразы. И хотя он бился над этой проблемой по двадцать часов в сутки, разумеется, не без помощи своих коллег, найти ключ к языку не удавалось из-за бесчисленного множества возможных толкований каждого нового послания. Экипаж обсерватории, ко всеобщему сожалению, вынужден был призвать к сотрудничеству других специалистов, которые вскоре стали рассматривать проблему бинарного языка как свою собственную.

Впрочем, сокращать экипаж исследователей до маленькой группки было не только невозможно, но и нецелесообразно. Как только событие получило широкую огласку, оно взбудоражило всю нашу планету, по которой копии послания распространялись тотчас, по мере их поступления сюда. Исследовательские работы по их расшифровке были организованы в масштабах всей Земли, — на что были ассигнованы значительные финансовые средства правительствами многих стран в духе сотрудничества, которое представлялось не менее необычным, чем сам факт выхода инопланетян на связь.

Чудо, произошедшее на Земле, выглядело как следствие некоего космического возмущения, спровоцировавшего стремительное наступление новой, небывалой, сказочной эры, наступление повсеместное и столь бурное и всеобъемлющее, что не только ученые разных стран забыли свои сектантские раздоры, но объединились и последовали их примеру все нации. Проект создания Всемирной федерации, недавно робко предложенный несколькими политологами, считавшимися чудаками, осыпанный насмешками политических и финансовых воротил, начал немедленно претворяться в жизнь. Загадочное послание, отправленное сорок тысяч световых лет назад далекой

цивилизацией, стало причиной всепланетного единения. Психологический шок был настолько силен, что менее, чем через две недели после сообщения о получении сигналов, правительства некоторых воюющих государств решили сложить оружие и объединились с величайшим воодушевлением, которое разделяли их народы, включая непримиримых сторонников войны.

Все слои населения планеты требовали мира любой ценой. Условия противника заранее принимались. Национальные вопросы, вопросы территориальных притязаний, даже защиты чести, казалось, стали иметь ничтожное значение.

Перед таким всеобщим волеизъявлением все эти проблемы решались довольно быстро. Повсеместно в 24 часа было подписано перемирие, — для осуществления этой формальности главами государств были направлены серые кардиналы. Предметом первостепенной важности для всех теперь стала организация научно-исследовательских работ, мобилизация интеллектуальных сил для разгадки послания ради установления контакта с внеземной цивилизацией.

В первых рядах исследователей, естественно, фигурировали математики, астрономы, физики, астрофизики — научная элита, все те, кто предвосхищал подобное событие, чьи опубликованные ранее труды по этой проблеме квалифицировали их, как высочайших профессионалов. Впрочем, мало-помалу к этому уважаемому сословию стали присоединяться и другие специалисты, способные пролить свет и на данную проблему в частности.

Биологи, рассуждая по поводу внешности изображенных на схеме существ, строили теории, доказывающие, что разум всегда непременно воплощен в оболочку, более или менее похожую на человеческое тело. Они также считали, что язык этих особей должен быть аналогом нашему и разрабатывали правила для дешифровки кода в соответствии с таким подходом. Социологи выдвигали остроумные гипотезы об устройстве общества на далекой планете, в каждой из которых был найден новый путь развития цивилизации. Специалисты в области анатомии ночи напролет проводили, изучая простой треугольник, представляющий собой сердце. Некоторые ожидали увидеть в послании предсказание открытия, способного сделать революцию в медицине и хирургии, открытия намного более значимого, чем существующие прививки, которые намеревались сделать для профилактики нашим братьям из звездного скопления М-13 при встрече.

В общем, были мобилизованы специалисты всех отраслей

знания и интеллигенция. Не могли, разумеется, остаться в стороне от научных поисков и философы. Два разгаданных слова послания произвели на них огромное впечатление, и они решили, что сообщение инопланетян содержит сведения о самой большой тайне Вселенной — разгадке взаимоотношений между живым существом и космосом.

Теологи, которых также призвали принять участие в трактовке события, конечно же, рассматривали его с точки зрения духовной. Они оказались самыми страстными сторонниками дискуссий о космосе и стремились использовать ситуацию для утверждения веры, пуская в ход все свое красноречие и всякого рода весомые доводы. Дебаты принимали иногда неожиданный поворот.

Впрочем, исследования не были ограничены лишь официальными институтами. Ажиотаж охватил все человечество. Во всех сферах деятельности: в университетах, посольствах, школах, кружках, салонах, в деревнях, на заводах, кухнях — жители планеты, объединившись в группы по двое-трое, просто одиночки, сосредоточенно склонились над копиями послания, лихорадочно переставляя комбинации цифр, или блуждали взглядом по бездонному пространству космоса, ища вдохновения. Кроме того, событие взволновало и самые инертные слои человечества, — ведь оно было поистине беспрецедентным в истории планеты. Всеобщее смятение подогрело любопытство и нескольких писателей, из числа наиболее известных, а один академик через два года после принятия первого сигнала инопланетян даже посвятил несколько строк в серьезном журнале тому, что называли космическим происшествием.

И все-таки самые основательные, глубокие научные исследования проводились в лунной обсерватории, — Ирквин был их главным вдохновителем. Додж добился от учрежденного на то время правительства Земли, чтобы там создали центр для сбора всевозможной информации о результатах экспериментов каких бы то ни было исследователей, в том числе частных лиц. Станция «Космос» тоже поддерживала связь со всеми научными центрами, и поэтому была в курсе даже самых незначительных поисковых находок. Таким образом, при содействии правительства и многочисленного отряда самых видных специалистов прямо на борту сосредоточивалась воедино квинтэссенция аналитической и изобретательской человеческой мысли, которая обрабатывалась при помощи новейшей компьютерной техники, специально по этому случаю доставленной и установленной на Луне. Ирквин и его сотрудники, разумеется, продвигались в постижении тайны, но

очень медленно, шаг за шагом идя к успеху.

Один за другим следовали уроки бинарного языка, представлявшего собой все большую сложность, структуру которого никому не удавалось удержать в голове. Только электронно-вычислительные машины с большим объемом памяти были в состоянии сохранить и обработать ежедневно пополнявшуюся все новыми словами и терминами с разного рода нюансами информацию, освоение которой для человека было делом весьма напряженным и изнурительным. Электронные приборы распознавали и тщательно отбирали поступающие данные, сохраняя по большей части лишь самые необходимые, — те, что не в состоянии были расшифровать даже ученые. Тем не менее послание по-прежнему оставалось загадкой — потому отчаяние экипажа «Космоса» возрастало с приемом каждого нового урока инопланетян.

5

— Мне кажется, все готово, Додж, — неуверенным голосом сказал Ирквин. — Хотите нажать клавишу?

Додж отрицательно покачал головой:

— Нет, старина, уж лучше вы. Вы были душой экипажа и его мозгом в течение двух лет.

— Я боюсь.

— Я тоже.

— А мне все равно, — сказал Мэлтон. — Но Додж — прав. Это должны сделать вы, Ирквин.

Настал момент истины. Несколько дней назад Ирквин пришел к выводу, что вычислительная машина располагает уже всеми необходимыми данными для того, чтобы перевести послание. Оставалось только дать ей соответствующую команду, нажав на клавишу. Он сгорал от нетерпения сделать это незамедлительно. Но сегодня должно произойти событие особой важности, к которому причастно все человечество, ставшее сотрудником экипажа, поэтому, несомненно, процесс получения результатов исследований, то есть расшифровки, должен был проходить в присутствии компетентных представителей всех государств. Тайна, которую наконец-то раскроют, обязаны были засвидетельствовать не только ученые, но и ответственные работники, уполномоченные властными структурами. Ведь разгадка могла содержать, кто знает, например, угрозу гибели человечества, и уже поэтому не подлежала огласке. Конфиденциально уведомленное об этом Всемирное федеральное правительство делегировало полномочных представителей государств на финальную церемонию; и было решено ограничиться лишь их присутствием и присутствием ученых светил космической обсерватории.

— Приступайте, Ирквин! Нажать на клавишу должны именно вы. Мы не можем больше ждать.

Лицо математика побледнело от волнения. Усилием воли он подавил дрожание рук, тяжелым шагом подошел к пульту и опустил два или три рычага, затем, преодолев нерешительность, указательным пальцем нажал на пусковую клавишу.

Мэлтон, не сводивший с него глаз, испытал странное ощущение, будто наблюдает за человеком, решившимся покончить со своим существованием, и его последнее обдуманное действие — спустить курок пистолета, нацеленного в висок.

Послышался легкий щелчок, потом потрескивание, продолжавшееся несколько секунд, — и электронно-

вычислительная машина начала открыто переводить текст послания № 1.

Ольга, отказавшись присутствовать при электронном переводе послания, сидела одна в своей комнате.

Услышав, как грохнула, распахнувшись, дверь радиопрослушки и кто-то побежал по коридорам, она вскочила с кресла, метнулась из комнаты и успела заметить промелькнувшую фигуру, в которой узнала Ирквина в тот момент, когда тот стремительно мчался к себе, судорожно размахивая руками и, казалось, был взбешен. Войдя, он захлопнул за собой дверь. Слышно было, как скрипнула кровать, на которую он, вероятно, тотчас упал.

Еще мгновение она прислушивалась. Ей показалось, что он рыдает в голос. Не колеблясь, она устремилась в его комнату, в которой, как ей показалось, он хотел укрыться от всех. Она не ошиблась: распластавшись на животе, Ирквин лежал на кровати, обхватив голову руками, плечи его судорожно вздрагивали. Ольга подошла. Он поднял голову, и она увидела слезы на его глазах — это были слезы яростного отчаяния. Похоже, Ирквин был в горячечном бреду.

— Послание… — заговорила она.

— Послание, вы сказали *послание*… — рассеянно пробормотал он.

Ирквин замолчал, потом внезапно разразился нервным смехом, от которого вскоре поперхнулся и закашлялся. Затем он с трудом заговорил — то взвывая, как безумный, то жалобно лепеча, прерывая слова глухими душераздирающими стонами:

— Колоссальные, грандиозные мощности, с которыми нам не сравниться, которых мы и представить себе не можем — и это в век развитой атомной энергетики! — затрачены ради передачи этого послания! Миллиарды миллиардов киловатт, как посчитали физики! Количество энергии, которым можно в две секунды уничтожить нашу планету… Израсходована, вероятно, еще и значительная часть звездной энергии… А сколько средств убухали на это на Земле, Ольга! На расшифровку брошены миллиарды долларов, миллиарды фунтов, миллиарды рублей, франков, марок, лир, иен, рупий… Мобилизован интеллектуальный потенциал ученых всего мира… в течение двух лет!.. Заброшены все научные программы. Серое вещество человечества сконцентрировалось на единственном желании: расшифровать послание — информацию, которая якобы должна рассказать о великой тайне Вселенной…

— Да объясните же в чем дело? Послание расшифровано?

Ирквин горестно усмехнулся и бросил ей в лицо скомканный лист бумаги с текстом, который он судорожно сжимал в руке. После чего он подскочил к шкафу и вынул оттуда бутылку спиртного, наполовину опустошенную, которая два года ждала финала разгадки космического события.

В то время, когда Ирквин снова распростерся на кровати, глотая содержимое бутылки прямо из горла, Ольга расправила смятый клочок бумаги, подошла к окну и стала вполголоса читать написанное:

— «*Найдется ли в галактике благородное сердце, способное сострадать, которое скрасит участь одинокой, подло обманутой и истерзанной жизнью женщины. Сердце, преисполненное нежности*».

— «Истерзанное жизнью»… «преисполненное нежности»… — повторял, заходясь от злости математик, задыхаясь от ярости и алкоголя. — Вы внимательно прочли это? И что, оценили по достоинству? Как и я? Боже мой, ради такого идиотского послания был мобилизован коллективный интеллект всей планеты в течение двух лет! Зачем? Ради какой-то «истерзанной жизнью» дамочки? Ольга! Даже вычислительная машина смеялась над нами!.. Это же вульгарный, тошнотворный, нелепый образчик банального брачного объявления для женского журнала!..

notes

Примечания

1

В Средние века в Европе существовало около 20 тысяч лепрозориев, в которых содержались прокаженные. Как только у кого-то замечались признаки проказы, больного препровождали в церковь, где его заживо отпевали, а затем отправляли в лепрозорий, находившийся, как правило, в труднодоступном месте.

2

Знак, который прокаженные должны были носить на груди.

3

Погремушку, трещотку, колокольчик или нечто подобное должны были носить больные проказой, чтобы сообщать встречным о своем приближении.

4

Столетняя война длилась с 1337 по 1453 год.

5

Аббатство цистерцианцев, основанное Людовиком IX в 1228 году.

6

Перевод М. Лозинского.

7

Данте Алигьери. «Божественная комедия», «Ад», песнь VI (перевод М. Лозинского).

8

В 1346–1356 годы на мир обрушилась страшная эпидемия черной чумы, которая унесла 25 миллионов жизней в Европе и 25 миллионов — в Азии. Медицина той эпохи была бессильна бороться с бедствием; врачи могли лишь изолировать больных и уповать на милость Божию.

9

В подлиннике рассказ называется «Интерференция» (лат.: взаимодействие пли взаимное противодействие).

10

Тау Цети и Ипсилон Эридана — обе расположены на расстоянии около 11 световых лет.

11

В обсерватории Аресибо на острове Пуэрто-Рико отражатель телескопа изготовлен в соответствии с изгибом природной впадины; по такому же принципу работает и телескоп, установленный в обсерватории на Луне, поверхность которой испещрена кратерами различных размеров.

12

Спиритизм — учение о возможности общения с так называемым потусторонним миром, с духами, с умершими при помощи стуков, верчения столов и пр.

13

Еще во времена первого проекта OZMA профессор Франц Дрейк придумал аналогичный способ для передачи схем. Он полагал, что количество знаков, являющееся произведением двух первых чисел, легко установит математик. Оказывается, еще проще вычислить абсолютный квадрат, как это и сделали обитатели звездного скопления М-13 Геркулеса.

14

Моррисон.

15

Я ссылаюсь на основополагающий принцип такого языка, разработанный М. Альбером Дюкроком (эпоха роботов), разумеется, чрезвычайно упрощенный и схематизированный мной, который он, надеюсь, мне простит *(Авт.)*.